Надежда

Плевицкая

Мой путь с песней

Воспоминания звезды эстрады XX века исполнительницы народных песен

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания уникальной певицы, самородка, исполнительницы русской народной песни Надежды Плевицкой-Винниковой, сумевшей подняться в начале XX века от сельских хороводов до столичной сцены, стать любимой певицей императора Николая II и примой петербургской эстрады. Оглушительный успех, поклонники, головокружительные романы – все это было в жизни Плевицкой, но верность своему родному селу и семейному кругу она сохранила навсегда. Революция многое изменила – Надежда Плевицкая с мужем, белым генералом Николаем Скоблиным, оказалась в эмиграции, но и там благодаря таланту ее ждал большой успех, гастроли по европейским столицам, толпы почитателей – прежних, из Российской империи, и новых… Поэтому настоящим взрывом для парижского общества оказался арест знаменитой певицы за… шпионаж в пользу СССР. Она не смогла забыть родину и отказаться от нее.

В своих мемуарах, опубликованных в эмиграции, Надежда Плевицкая с юмором и душевным теплом рассказала о своем пути на большую эстраду, родном доме, матери, близких, встречах с императором и его семьей, Первой мировой войне, ставшей началом всех бед и потерь… Вот только агентурная работа певицы осталась за рамками повествования.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

- Надежда Плевицкая
  - ○
  - От издательства
  - Книга первая. Дёжкин карагод (Мой путь к песне)
  - Книга вторая. Мой путь с песней
  - Фотоархив
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

Надежда Плевицкая
Мой путь с песней: Воспоминания звезды эстрады начала XX века, исполнительницы народных песен

© «Центрполиграф», 2023

* * *

От издательства

Жизнь знаменитой русской певицы начала XX века, исполнительницы русских песен Надежды Плевицкой напоминала сказку – чем, если не волшебством, объяснить превращение босоногой сельской девочки, любившей петь на праздниках, в признанную звезду эстрады, «Курского соловья», любимицу публики и самого императора?

Но только сказка эта оказалась со страшным финалом…

Будущая звезда родилась в Курской губернии, в многодетной крестьянской семье. С детства юная Надежда, или Дёжка, как называли ее дома, тянулась ко всему красивому, а самое красивое, что она видела, был монастырь, куда она с матерью ходила на богомолье. И Дёжка еще подростком решила уйти в монахини… Им позволялось петь на клиросе, а у нее был великолепный голос. Родители возражали, но после смерти отца мать сдалась и отпустила свою любимицу в монастырь. Надежда два года жила послушницей, готовясь принять монашеский постриг.

Однажды монахини привели юную черницу на ярмарку – продавать монастырское рукоделие и собирать пожертвования. На ярмарке Дёжка впервые увидела «балаган» – нечто среднее между цирковым и эстрадным представлением. Сбежав от монахинь, пятнадцатилетняя девочка поступила в труппу и получила свое первое концертное платье с блестками. Она пела для публики и была совершенно счастлива. Но родня разыскала «беспутную» девку и вернула ее в деревню – путь в монастырь теперь был закрыт.

От дурной славы мать отправила Надежду в Киев, к старшей замужней сестре. Родные мечтали, что Дёжка найдет место горничной, прикопит денег на приданое и встретит городского жениха, имеющего твердый кусок хлеба. Но Дёжка с подругой вновь убежала из дома, чтобы поступить в хор эстрадной труппы, гастролируя по разным городам, давая концерты в кафешантанах, ресторанах и на летних эстрадах во время гуляний.

Родным удалось разыскать ее только через год. Они были в ужасе, что Дёжка подалась в хористки, в «ахтерки», и, значит, стала «падшей». Мать пыталась вернуть ее домой, но после уговоров дочери и хозяев труппы вынуждена была смириться – в деревне опозоренную девку замуж все равно уже никто не возьмет, а Дёжка клялась «блюсти себя» в городе. Она и вправду долго придерживалась убеждения, что путь к счастью лежит

только через законный брак, освященный церковью и родительским благословением. Но ей рано довелось увидеть изнанку жизни… На эстраде царили свободные нравы; многие девушки бросали сцену, поступая на содержание к богачам… Однажды, спасаясь от домогательств пьяного купца, ей пришлось в разорванном платье убегать сквозь ресторанный зал под свист и улюлюканье публики. Тем не менее Надежда не нашла в себе сил отказаться от сцены.

Через три года она была зачислена в кордебалет Варшавского театра, гастролировавшего по России. В танцах Надежда не преуспела, зато перед началом спектакля и в антрактах пела в фойе для публики романсы. В театре она встретила своего первого мужа – поляка Эдмунда Плевицкого, солиста балетной труппы. Избалованный женским вниманием танцор неожиданно для всех увлекся юной простушкой из кордебалета и, получив отказ в свободных отношениях, вступил с ней в брак. Деревенская родня была не в восторге: что это за муж, который пляшет перед людьми за деньги? Но мать все же дала благословение, и Надежда обвенчалась с красавцем-поляком.

Первые годы брака она очень любила мужа, старалась помочь ему справиться с неудачами (то антрепренер сбегал с театральной кассой, бросив труппу без гроша, то не было ангажемента, и Надежда с мужем голодали в дешевой гостинице). Плевицкий воспринимал беды с полным отчаянием, и девятнадцатилетняя Надежда возилась с ним как мать. Эдмунд же со своей стороны старался привить жене тонкий вкус и хорошие манеры, пробудить ее интеллект. Он понимал, что Надежда – талантливая певица, и настаивал на сольной карьере жены.

Под влиянием мужа Плевицкая поменяла репертуар, сосредоточившись исключительно на русских народных песнях. Лучшим предложением для нее оказался контракт на выступления в знаменитом ресторане «Яр» в Москве. Там она смогла обратить на себя внимание «настоящей» публики. Муж, связанный собственным контрактом с польской труппой, не желал оставлять балетную карьеру и отпустил Надежду в Москву (Плевицкий, кроме исполнения главных ролей, занимался еще и балетмейстерством, работал с молодыми балеринами, имел легкие романчики, и временная разлука с женой показалась ему даже приятной).

Надежда Плевицкая добилась успеха в Москве, у нее появились первые серьезные деньги. Чтобы закрепить этот успех, она в 1910 году отправилась на гастроли на Нижегородскую ярмарку, а потом – в Ялту, одно из самых модных курортных мест Российской империи. Здесь была летняя резиденция государя, и

здесь же отдыхал весь цвет придворной аристократии.

Ее выступления проходили с невиданными аншлагами. Князь Юрий Трубецкой, командир придворного конвоя (личной охраны императора), передал Плевицкой приглашение выступить на вечере в доме министра двора барона Фредерикса. Аристократическая публика пришла в восторг от пения «русского самородка».

В Москву Плевицкая возвратилась модной певицей, принятой в высшем свете, что открыло для нее все двери. Она разорвала контракт с рестораном и наняла хорошего импресарио. Билеты на ее концерты расхватывали в драку – все желали услышать певицу, наделавшую столько шума в придворных кругах. Однажды московский генерал-губернатор Джунковский передал Плевицкой срочное приглашение в царскую резиденцию под Петербургом. Уже назначенные концерты пришлось отменить. Курьерским поездом Надежда выехала в Петербург, чтобы петь для царя. Николай II был в восхищении. Вскоре Плевицкая становится своим человеком в царской семье, бывает по-свойски в гостях у родственников государя, играет с царевнами в пятнашки, травит с царем анекдоты, над которыми тот заразительно хохочет. Император в знак признательности дарит ей уникальные драгоценности. И только императрица Александра Федоровна под разными предлогами избегает посещать ее выступления.

Узнав об успехах супруги, Плевицкий приезжает к жене в Москву. Она встречает мужа с удивившим ее саму равнодушием. Жизнь Надежды резко изменилась, а муж был явлением из прошлого… Впрочем, она сохранила с Плевицким хорошие отношения, скорее дружеские, чем любовные, помогла ему найти работу в Москве, заказала новый гардероб. Виделись они не так уж часто – Надежда Плевицкая пребывала в постоянных разъездах.

Работала она с полной отдачей, на износ, и вскоре у нее начались тяжелые приступы загадочной болезни: мучительные боли, потеря сознания. Лучшие врачи не понимали, в чем дело, и ставили разные страшные диагнозы… Потом доктора пришли к выводу, что приступы вызваны тяжелой неврастенией. Чтобы снять нервное напряжение, Плевицкая начала использовать морфий. Муж, который по-прежнему относился к ней с большой заботой, делал все возможное и невозможное, не давая ей превратиться в наркоманку. Окончательно уйдя со сцены, Плевицкий делил свой досуг между знаменитой женой, нуждающейся в его опеке, и романами с околотеатральными дамами. Он всегда был хорош собой, а теперь, благодаря трудам Надежды, стал еще и богат.

Она же не считала зазорным содержать мужа, как и деревенскую родню. Что поделать, если ей одной так «свезло»? Всем сестрам и брату Плевицкая помогает деньгами, строит хорошие дома, покупает землю, дает богатое приданое. Пьющий брат нередко компрометировал ее, устраивал дебоши, объясняя полицейским, что его сестрица с самим царем на дружеской ноге… Но Надежда все прощала.

Вскоре сбывается ее давняя мечта – она покупает у разорившихся помещиков землю, лес и луга рядом с родной деревней и строит новое имение, где принимает друзей, людей искусства и поклонников… В этом имении снимаются два немых фильма с Плевицкой в главных ролях. Ленты имеют огромный успех в прокате. Плевицкий поселяется в имении жены, смотрит за хозяйством, заботится о ее престарелой матери. Мать, неожиданно для всех, полюбила ласкового поляка чуть ли не больше, чем родных детей.

А Надежда, вращаясь в светском обществе, встречает на приеме у сестры царя, великой княгини Ольги Александровны, большую любовь – гвардейца-кирасира Василия Шангина. Она мечтает о новом браке, о детях. По отцу они будут дворянами и займут должное положение в обществе. Развод с мужем, конечно, проблема, но… Плевицкий – католик, а разводы с иноверцами проходят по упрощенным правилам. Однако для этого требуется время, и немалое…

Надежда Плевицкая, вопреки своим прежним нравственным правилам, открыто сходится с Шангиным. Весь свет следил за развитием их отношений. Шангин отказывался поселиться в доме Плевицкой, сохраняя остатки приличий, но то, что красавец-офицер частенько проводит у известной певицы ночи, было известно всему Петербургу. Плевицкий по-прежнему жил в ее имении, и Надежда решила оставить его там – не выгонять же на улицу человека, с которым прожила много лет.

Шангин и Плевицкая, считавшие себя женихом и невестой, отправились в «предсвадебное» путешествие за границу летом 1914 года.

Известие о начале войны застало их в Швейцарии. Они срочно возвращаются в Россию. Шангин идет со своим полком на фронт. Плевицкая, не в силах перенести разлуку, добивается зачисления санитаркой в лазарет при воинской части Шангина. Несмотря на все тяготы фронтовой жизни, она счастлива, что может хотя бы изредка его повидать. О любви знаменитой певицы к офицеру Шангину на фронте слагали легенды. Но легенды ходили в офицерских кругах, где у Плевицкой было много поклонников, бывавших в мирное время на ее концертах. А

раненые солдаты в лазарете, узнав, что их заботливая «сестрица» из деревни, наперебой предлагали ей руку и сердце. И свое крестьянское хозяйство в придачу.

Когда Шангин погиб, Надежда в шоковом состоянии, с сердечным приступом отступала вместе с военным лазаретом из Восточной Пруссии и чуть не попала в плен. Ее спас давний поклонник, казачий полковник, который под обстрелом вывез певицу из окружения.

Вернувшись в Петербург, Надежда Плевицкая впала в глубокую депрессию. В свою роскошную квартиру она даже войти не смогла. Друзья Шангина опекали ее… Вскоре Надежда поняла, что ей необходимо лечиться у психиатров. Ее устроили в хорошую клинику, она подлечила нервы и решила вернуться на сцену, хотя первые концерты давались ей с большим трудом.

Вскоре ее ожидал еще один удар: в деревне, на руках ее первого мужа умирает ее старенькая мама. Плевицкий готов был восстановить отношения, несмотря на оформленный развод, но Надежда еще не справилась с любовью к погибшему Шангину.

Революция застала бывших супругов в имении, где Надежда восстанавливала силы после всех потрясений. Вскоре она переехала в Курск, навсегда расставшись с бывшим мужем. В Гражданскую войну Курск оказался в руках красных. Плевицкая давала концерты для бойцов Красной армии и вместе в красными отступала на юг, добравшись до Одессы.

Ее личная жизнь в эти годы свидетельствовала прежде всего о тоске по сильному плечу, на которое можно опереться в рушащемся мире. В Одессе она сходится с революционным матросом Шульгой, но роман продолжается недолго – с мая по август 1919 года. Разочаровшись в революционных идеалах, Надежда с помощью белого офицера Левицкого бежит к корниловцам… Романтическое бегство приводит к скоропалительному венчанию. Однако вскоре необдуманный брак был забыт, как случайный эпизод, – у Плевицкой начался жгучий роман с полковником Пашкевичем, воевавшим в войсках под командованием Врангеля.

В 1920 году на Перекопе раненый Пашкевич умирает. Отвергнутый Левицкий пытался поддержать ее в горе, но Надежда предпочла генерал-майора Скоблина, напоминавшего ей незабвенного Шангина.

Скоблин был совсем молодым человеком – в 1914 году, когда началась Первая мировая война, ему не исполнилось еще и двадцати одного года. Но он так храбро воевал, что сделал головокружительную военную карьеру, поднялся в чинах, после революции вступил в Добровольческую армию и к моменту

встречи с Плевицкой уже командовал дивизией. Обычной, мирной жизни он почти не знал – с гимназической скамьи поступил в юнкерское училище, потом – фронт, революция, Гражданская война… Плевицкая стала для него первой настоящей любовью и символом безвозвратно потерянной мирной жизни.

Левицкий согласился дать Надежде развод, но на новое бракосочетание времени не нашлось – в середине октября 1920 года последнее сопротивление белых было сломлено. Началась спешная эвакуация. 126 русских кораблей отошли от крымских берегов, увозя беженцев, которых никто и нигде не ждал.

Остатки Белой армии с женами и детьми после мучительного перехода оказались в Константинополе. И гражданские лица, которым разрешили обосноваться в Константинополе, и военные, вывезенные в «лагеря» пустынных степей Галлиполи, попали в тяжелейшее положение – без денег, без службы, без всякого дела, больные, голодные, никому не нужные. Живые завидовали мертвым – тем, кто погиб на родине и не испытал мук и унижений отступления и эвакуации. 30 тысяч человек, в основном кадровые офицеры и их жены, среди которых были и генерал Скоблин с Плевицкой, почти год прожили в рваных палатках в мучительном ожидании своей судьбы.

По-крестьянски приспособленная, Надежда могла «из ничего» сварить на костре похлебку, постирать белье, обработать рану, чтобы не началось нагноение, и старалась облегчить жизнь нового мужа и его сослуживцев. А вечерами давала концерты, чтобы поддержать дух деморализованных бесприютных белогвардейцев.

Когда «галлиполийское сидение» подошло к концу, Плевицкая и Скоблин перебрались в Варну. Вскоре певица стала давать концерты и ездить с гастролями по всей Болгарии, где имела большой успех, – и эмигранты, и местные жители с восторгом слушали ее пение, испытывая тоску по потерянной родине. Начались заграничные турне – Прага, Берлин, Белград, Прибалтика… Для Николая Скоблина возобновленная карьера жены имела большое значение, он всегда сопровождал ее в поездках…

В 1924 году они смогли перебраться во Францию, в «столицу» русских эмигрантов – Париж, где Плевицкая имела не меньший успех. Она была принята в лучших кругах эмигрантского общества, все, вплоть до уцелевших членов императорской фамилии, приглашали ее с мужем в свои дома. Муж занял видное положение в РОВС – Российском общевоинском союзе, главной военно-политической организации белогвардейцев. Плевицкая стала звездой мировой эстрады – выступления в европейских

столицах, в Америке приносили приличный доход. Она смогла приобрести особняк в Париже, дорогой автомобиль, завести прислугу, вообще вернуться к привычному комфортному существованию.

И тут разразилась страшная беда. Агенты НКВД, активно действовавшие в европейских столицах в середине 30-х годов, провели ряд удачных «актов» – похищение видных белогвардейских генералов (Кутепова и др.) из числа руководителей РОВС. Власти обвинили мужа Плевицкой Скоблина, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах (а возможно, и просто убитого – его следы после похищения генерала Миллера более никогда и нигде обнаружены не были), в том, что он – агент советского правительства и был причастен к операциям похищения. Плевицкая была арестована и оказалась под судом за соучастие.

Белая эмиграция отвернулась от нее – в примадонну, бывшую недавно кумиром публики, только что не кидали камни… Следствие тянулось почти два года, суд состоялся в 1939 году, незадолго до вступления во Францию войск Третьего рейха. Скоблина приговорили заочно к пожизненной каторге, Надежде Плевицкой, которой было уже за пятьдесят, присудили двадцать лет тюрьмы, а после отбытия срока – еще десятилетнее изгнание за пределы страны… Адвокат, испытывавший к ней большую личную симпатию, смягчения приговора добиться не сумел.

Она умерла в тюрьме во время фашистской оккупации Франции…

В эмиграции Надежда Плевицкая написала две книги воспоминаний: «Дёжкин карагод (Мой путь к песне)» (Берлин, 1925) и «Мой путь с песней» (Париж, 1930). Первая книга рассказывает о детстве (карагодом в ее родном селе называли хоровод), о взрослении будущей певицы и первых попытках поиска своего пути. Вторая книга повествует прежде всего о ее творческих удачах и удивительном подъеме на музыкальный Олимп, о друзьях с громкими именами, о родных людях. Вот только о личной жизни Надежда Плевицкая говорит мало – первого мужа упоминает мельком, разве что о его крупном проигрыше в казино Монте-Карло вспомнила да о том, что ее мать в селе умерла на руках у Плевицкого, рассказала; о Шангине можно узнать лишь то, что он был гвардейский офицер, воевал и погиб… А она его очень любила и еле пережила эту потерю. Два других мужа и не упомянуты.

Что ж, не каждому человеку легко делиться глубоко личным…

Книга первая. Дёжкин карагод (Мой путь к песне)

Небольшое, запущенное озеро в Мёдонском лесу, близ Парижа, излюблено рыболовами. Они сидят вокруг него с удочками и часами, с ангельским терпением, ждут улова. Никогда я не думала, что буду здесь, у озера, наблюдать, как французские граждане ловят рыбу, и вспоминать мое дорогое, мое невозвратное!..

* * *

Вспомнилось мне родное село Винниково и наш пруд, обильный всякой рыбой. Мать моя была горячий рыболов, и, когда все старшие были на работе, я помогала матери ловить рыбу, как помогала ей во всем. Все делала я с охотой: цыплят накормить, крапивы свиньям нарвать-нарубить, посуду убрать, ну а рыбу ловить и гусей стеречь – не любила.

И какое, право, удовольствие девочке тянуть сеть по грудь в воде, утопая в грязи топкого пруда? Да и ловля бывала на закате солнца, по зорьке, когда подруги мои весело играли на выгоне «в коршуна». Их голоса и крики «крра, крра» доносились до меня, возбуждая зависть и усиливая мое нетерпение: «Когда же конец этой ловле?»

Но мать не делила моего чувства, а еще сильнее разгоралась; за спиной в мешке ее трепетало много рыбы. Но вот мы делаем последний заход, рыбу высыпаем в ведро, и я, к большой радости, спешу на берег, а мать одна принимается ловить раков.

Помню, с ужасом я смотрела, как она смело лазила под коряги и в норы: знала мать, где гнездятся раки. И вот – полно ими ведро. Мокрые, спешим мы огородами домой. Работа кипит, горит костер, варится уха и раки: идут с работы братья, сестры, отец, а для них уже готов сытный ужин.

Мои старшие сестры, статные девушки, работа их за целый день не берет.

Они весело подтрунивают друг над другом.

Настенька говорит, что Дуня не поспевает вязать снопы за отцом, а Дуня в ответ, что, хотя и медленно вязала она, зато снопы крепче Настенькиных.

– Твои как в руки возьмешь, так и рассыплются.

Любят крестьянские девушки жнитву.

В такое время все село на поле: есть где показаться работушкой друг перед другом.

И как не показаться, когда рядом, на загоне, работают женихи да будущие свекрови – не ударить же лицом в грязь.

Работящая девка – сокровище в доме.

Всегда я завидовала старшим сестрам – они большие, и, чтобы показаться, что и я не маленькая, старалась поднимать меры с зерном или картошкой, да за это получала лишь подзатыльники – надорвешься, мол. Я обижалась, но тринадцати лет поднимала мешки в пять пудов. Тогда разве знала я, что буду петь, готовилась быть «сокровищем в доме».

Я подсматривала, как сестры на ночь мажут сливками лицо от загара, и делала то же; еще таскала я у них помаду и репейное масло, которым они душили волосы, за что также награждали меня подзатыльником.

Словом, мешали мне всячески стать большой.

* * *

Отец мой был николаевским солдатом[1]. Прослужил восемнадцать лет, а шесть лет ему подарили за его честную и беспорочную кавалерскую службу.

Был он стрелком, да на учении порохом засорил глаза. И как я помню его, всегда страдал он глазами, а под конец совсем плохо стал видеть.

В селе все его звали – Солдат.

Долгими зимними вечерами, когда прялки моих сестер тихо гудут, приходили к нам посидеть, покалякать почтенные господа мужики: да и к кому же пойти, как не к солдату бывалому? Первым являлся Дей Абрамыч, двоюродный дядя, опрятный и собою красавец, и было слышно, как в сенях обметал он с валенок снег и отряхивал свой тулуп, а переступив порог горницы, молился на образа и здоровался по-военному:

– Здравия желаем.

– Милости просим, Дей Абрамыч.

Он был моим любимым дядей, а потому всеми правдами и неправдами старалась я подсесть к нему ближе, пока не брал он меня на колени и не закутывал в тулуп.

А за ним приходили:

Потап Антоныч…

– Во святой час со молитовкой, – говорил он, переступая порог.

– Просим, просим, Антоныч.

Покряхтывая и обирая ледяные сосульки с бороды, тяжело вваливался в избу дядя Володя, а за ним Амеляка-Кулик, прозванный Куликом за свой длинный нос.

Словно бы сказки, слушала я беседы, пригревшись у дяди в тулупе.

Прялка матери умолкала, когда отец начинал рассказ про Крым, где отбывал он солдатскую службу. Уж какая тут пряжа, когда вспоминалось про прошлое: мать моя только что вышла замуж, как ее Васю забрали в солдаты, и через год отправилась она к мужу в Крым. Из Курска до Одессы на лошадях – тогда не было железной дороги, а из Одессы пароходом, до Феодосии.

Много лет утекло, уже состарилась мать, а путешествие свое помнила, как будто оно было вчера.

Да прерывалась степенная беседа явлением молодого Якушки, сына Потапа Антоныча.

Он, по словам матери, «как бес с хвостом», вкатывался в избу. Якушкина натура была замечательна: посидеть на месте чинно-смиренно не мог. Пляски, пение, свист, гармошка были его всегдашние сотоварищи; даже постом, когда такого не полагалось, пел Якушка духовные псалмы.

А если не с кем ему было поговорить, он вслух беседовал с лошадью: «Но, а Но, бросим, брат, пахать, давай покалякаем».

– Якушка, откуда, леший, свалился, уймись, дай старым поговорить…

А леший уже завился вьюном около сестер, мешает им прясть, сыплет прибаутками да наконец вспоминает, зачем к нам пожаловал:

– Гля, чуть не забыл, тять, тебя мать ужинать зовет.

Тогда все вспоминали, что пора ужинать. Изба пустела, мать хлопотала у печи. За стол, не помывши рук и Богу не помолясь, не садились, а за едой полагалось сидеть смирно-чинно и «зубы не скалить». Обыкновенно после ужина, мать и сестры старшие садились за прялки, брат плел лапти, а мы с Машей, две младшие, да и батюшка укладывались спать.

Выла вьюга в трубе, ласково гудели прялки, брат Николай тихо постукивал свайкой по колодке. Под музыку зимы и труда засыпала я в нашей тесной, но дочиста набеленной избе. Эту привычку белить и смазывать глиной пол восприняла мать, когда отбывала с отцом солдатскую службу в Крыму.

* * *

Семеро было нас: отец, мать, брат да четыре сестры. Всех

детей у родителей было двенадцать, я родилась двенадцатой и последней, а осталось нас пятеро, прочие волею Божьею померли.

Жили мы дружно, и слово родителей для нас было законом. Если же, не дай Бог, кто «закон» осмелится обойти, то было и наказание: из кучи дров выбиралась отцом и матерью палка, потолще, со словами:

– Отваляю по чем ни попало.

А вот и преступления наши.

Родители не разрешали долго загуливаться. «Чтобы засветло дома были», – наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что «хорошая слава в коробке лежит, а дурная по дорожке бежит». Вот той славы, «что по дорожке бежит», мать и боялась.

А если случалось, что мы заиграемся, забудемся, – на выгон из-за церкви показывалась мать. Шла она медленно, будто прогуливаясь, руки держала позади – эту манеру мы знали: раз руки за спиной, значит, прячет палку. И когда, в пылу веселья, не замечали мы ее приближения, она подходила и «сызновости» ошарашивала палкой старшую из сестер – с тебя, мол, спроса больше.

Претерпев всенародный срам, мы бегом спешили домой, а за нами и улица расходилась: вслед за «Хроловной» приходили «Федосеевна» и «Поликарповна» звать своих дочерей.

«Вестимо: строгая мать – честная дочь».

Доставалось нам также и за «черное слово» – чертушка, черт. Таким скаредным словом в доме у нас не ругались. А за ложь наказывали престрого.

* * *

Надо сказать, что, кроме матери, все были у нас малую толику грамотны.

А если я умею немного читать и писать, то потому лишь, что горькими слезами выплакала у матери разрешение ходить в школу. Рукава моего серенького платья были мокры от неутешных слез (платки-то носовые полагались у нас только в день воскресный к обедне) – так убедительно просила я мать отпускать меня в школу.

– Да кто же корову стеречь будет? – говорила мне мать. – К тому же ты молитвы-то знаешь, а замуж тебе не за лавочника идти, не за прилавком сидеть. Грамота тебе не нужна. Вот я хоть и без грамоты, а до мильёна считаю…

Но я думала иное и пуще мочила слезами рукавенки моего серенького затрапезного платья: грамоте учиться очень хотелось.

И тут помог случай: не было бы счастья, да несчастье помогло. В канун Петрова дня вся наша семья ушла в поле: крестьяне дорожат каждым погожим днем, работа кипит от зари до зари, а дом сторожат малые да старые. Меня тоже оставили хозяйничать.

Уходя, мать приказывала:

– Хату не бросай открытой, а то побирухи залезут. Квас в погребе, наберешь огурцов и пообедаешь сама, а мы до вечера не воротимся.

Была у меня подруга, однолетка – Машутка, рябая и немножко с глушинкой, дочь Амельки-Кулика. Ее я позвала к нам коротать длинный день одиночества. Когда пришла пора обедать, спустились мы в погреб за квасом. Погреб – чего только там нет: бочка молодого квасу, большие горшки с творогом, маслом, сметаной – все собрано за Петров пост, когда скоромного не едят. А на полке выстроилось много кувшинов свежего молока: мать, за три дня до Петра, заготовляла молоко для раздачи бескоровным крестьянам, чтобы и они могли разговеться на праздник. И вдруг шкодливая Машутка нечаянно возьми да толкни полку, и в единый миг кубганы с молоком полетели на пол… Пропало все добро, которое было приготовлено для благой цели, – Машка оставила бедняков без молока.

Дрожащие, вылезли мы из погреба. Машутка побежала домой, а я осталась одна и с отчаяния кричала ей вслед:

– Рябомордая, Глухня!

Она была мне ненавистна, как розга, которую предстояло мне, по приходе матери, отведать.

Оставшись одна, я взяла мешок, надела на руку вязанку и пошла рвать крапиву для свиней. Все, что мать приказала мне сделать, порешила я исполнить до точки – даже ненавистных гусей отыскала в поле и пригнала домой, думая тем умягчить родительский гнев.

Время шло; вот и стадо с выгона пылит, овцы бегут, идет степенно мамочкина пегая корова, жадно визжат свиньи, бегут к корыту и чавкают месивом, которое я сегодня намелко нарубила, посыпав обильно отрубями.

Вот и мать. Она идет раньше всех, чтобы подоить корову и приготовить ужин. Завидев ее, не бросилась я радостно навстречу, как всегда, а ушла подальше от избы и села на окопе погоста, что был против нашего дома.

Мать почуяла что-то неладное, манила меня пальцем, кричала: «Дёжка, иди, ягоды несу».

А Дёжкой меня все тогда называли.

Но Дёжка не трогалась. Я решила даже и ночью на окопе сидеть, пусть ведьмы ходят на погосте. Розга-то пострашнее

ведьм.

В душе у меня такая кипела буря против Глухни, что я даже решила вконец загубить свою душеньку и шептала самое грешное слово – «черт, глухой черт».

Вот как злобилась я на Машутку.

А мать ходит по двору, посматривает: все в порядке.

Но вот я слышу, мать ласково уговаривает Буренушку стоять смирно, значит, моет ей вымя, чего корова недолюбливает, вот слышу звон падающего в доенку молока. У меня сердце забилось: скоро мать все проведает.

Процедив молоко, мать понесла его в погреб. Тут я села еще подалее, на случай, если мать вознамерится меня ловить. Из погреба мать вышла тихая. Это всегда бывало, когда она сильно огорчалась. Только пальцем мне погрозила:

– Ну вернись ты домой…

Она мелькала из хаты в амбар, из амбара в пуньку; и вдруг зашла как-то в сторону. Я тут смекнула, что она хочет обходом меня изловить. И пустилась на погост. Хотя и храбрилась я, покуда было светло, а к ночной темноте забоялась ведьм и пошла к дому. В избе уже горели лампадки, лавки и стол были вымыты: завтра Петров день, праздник, а у меня, Дёжки, тяжесть на душе… Вдруг сзади мать, удалось ей меня схватить. Розга ожгла, я кинулась в святой угол, где красуется вышитая пелена. Но и святость меня не спасла. Мать наступает, я розгу ловлю, себя защищая, – поймала, переломила, и нечаянно поцарапала прутом мамочке до крови лицо. Тогда, не помня себя, она схватила меня за волосы да о стенку, у меня в глазах потемнело. А мать, отойдя от гнева, через минуту уже плакала надо мной, и тут, в слезах, я ей рассказала, что во всей беде повинна Машутка. Мать мочила мне голову святой водой и шептала: «Что делает лукавый с человеком и откуда такая злоба? Господи, спаси, помилуй».

Я же, хотя и с шишкой на голове, но чувствовала себя именинницей: пронесло беду.

Мать тут же рассыпалась в милостях: обещала мне купить палевое пальто, шагреневые, со скрипом полусапожки, назавтра взять с собой в Коренную пустынь[2] на богомолье, сшить казинетовый тулупчик, а на зиму пустить меня в школу. Первый раз была мать со мной так гневна, и в первый раз я была так счастлива: «Буду, слава Те, Господи, в школе».

* * *

А Коренная пустынь в восемнадцати верстах от нас.

Я же дальше леса Мороскина и Липовца не бывала, а это от нас в одной версте. Понятно, что такое далекое путешествие не дало мне в ту ночь заснуть.

Я просила мать разбудить меня до восхода солнца: ведь на Петров день «солнышко играет». Многие у нас даже видели, как оно разными лентами полыхает и вертится. Игры солнышка хотела я посмотреть.

Мать разбудила меня словами: «Солнышко, Дёжка, восходит!» Скорехонько бросилась я на двор, но как ни присматривалась, а никаких лент не видала, и солнышко не вертелось, а поднималось в покое.

Верно, на нынешний Петров день оно стало степеннее, чем в прежние годы.

В Коренную порешили идти после обеда – раньше матери все равно не управиться. Уже носился в воздухе вкусный запах калачей, но до обедни пробовать их не полагалось.

Нынче в церковь все выйдут нарядные: сестры наденут лучшие платья, мы, младшие, будем в розовых, и передники с петушками, брат в малиновой рубахе и в новых сапогах, от которых пахнет дегтем, а отец, как всегда, в свитке, где по солдатской привычке все прилажено: складочка в складочке. Отец и в церкви держит шапку по-военному.

К храму тянутся люди, длинными яркими лентами. У коновязи стоят повозки, крытые коврами, лошади в богатых сбруях. Это приехали водяновские саяны[3], что живут в трех верстах от нашего села. Кто победнее, те пришли пешими и теперь в сторонке надевают полусапожки, которые по бережливости всю дорогу несли в руках. А бабы водяновские, в шитых золотом панёвах и в кичках, сверкают множеством бус.

В церковной ограде повстречала я Машутку, она сказала мне, что с бабушкой идет в Коренную пустынь. Значит, идем вместе. В церкви я встала впереди отца, и ему часто приходилось меня одергивать, чтобы я стояла смирно: а как тут устоишь, когда кругом так много любопытного. На левом клиросе виднеются пышные цветы на шляпках Рышковых барышень, тут же Таничка Морозова в чудном голубом платье, вся в оборках и с турнюром, ну точь-в-точь как на картинке, что прилеплена к стенке в горнице Потапа Антоныча. Таких барынь рисовала я на грифельной доске, которую таскала у сестер. Нарисую барыню, а позади непременно собачку.

На правом клиросе сегодня особенно хорошо пел хор, а в хору Егор, сын дяди Дея, и Васютка Степанов, наши певцы, любимцы всей деревни: у одного альт звонкий и чистый, у другого дискант. А главное, они пели «с понятием».

Управлял хором учитель Василий Гаврилович, помахивал рукой, – рука белая, тонкая, не такая корявая, как у моего брата.

Мать говорила, что других дум, кроме молитв, в церкви быть не должно: «Ты как свеча перед Богом должна в церкви стоять».

Я же сегодня совсем на свечу не похожа, верчусь, на месте не устою, в голове мысли грешные – хорошо бы шляпку такую, как на Рышковой барышне, и платье в оборках, как на Тане Морозовой. Шляпки из лопуха, что мы с Машуткой мастерили, совсем не годны. Хочется вот такую.

А белая рука учителя помахивает, будит во мне честолюбивые замыслы: вот в эту зиму учиться пойду и, наверное, буду петь на клиросе, голос у меня не хуже, чем у Махорки Костиковой, которую все село хвалит. А я, не дальше как вчера, в лесу, ее перекричала. Покуда текли мои мысли, отошла обедня. Отец дал мне просфоры, и мы все, после приветствий с родней, тронулись к дому, помолясь по дороге на родных могилках. В избе все было готово, и мать ждала нас разговляться.

* * *

После обеда мать и бабка Машутки с котомками за плечами, где было много лакомств, двинулись в Коренную пустынь. В руках у них были большие посошки от собак, мне же брат, по случаю моего торжественного выхода, обстругал хорошую палку и даже разрисовал ее. Я была рада, но брат, отдавая мне палку, сказал:

– На тебе, дьякон патепский, путешествуй.

Обиделась я и палки не взяла, так как кличка «дьякон патепский» мне была ненавистна. А дали мне ее потому, что моя маленькая, кверху закорючкой, косица была, видно, такая же, как у пьяницы и бродяги дьякона, согнанного из села Патепика.

Уговорить принять подарок брату было легко. Он сказал, что раз я не бродяга и не пьяница, то на дьякона не похожа, а что косичка крючком – то пустяки.

Я дар приняла.

На удивление матери и бабки, мы с Машуткой, верхом на палке, бодро проскакали почти полпути. На привалах им приходилось нас удерживать.

Не дошли мы еще до Коренной восьми верст, как перед нами в роще, на горе, засияли золотые купола святой обители. Бывало, в своей деревенской церкви, я думала, что такой церкви, верно, нигде на свете нет, разве только у царя хоромы не хуже, а тут такая красота, и не далеко, где царь, а совсем от нас близко.

Переезжали мы на пароме, поднимались по старинной

длинной лестнице. Мимо проходили монахи, неся на руке подолы черных мантий… Все чудеса, чудеса невиданные.

Отдохнув, мы пошли ко всенощной. Народу много и духота. Я усердно молилась и, не отставая от матери, истово била поклоны. Но мать моя вдруг обернулась и стала шепотом укорять стоявшего позади нас господина, обличием барина, который делал вид, что усердно молится и что укоры не к нему. Да мать не проведешь, – у нее не раз вытаскивали из кармана денежки кровные, завязанные в уголке платка, и такая беда всегда случалась с нею именно на богомолье; но теперь в кармане ее, не без умысла, лежал не платок, а острием вверх арбузный нож.

Вот на этот-то нож, видно, сильно накололся «богомольный» вор. Мать не оставила вора в покое, выговаривала ему:

– Бесстыжие твои глаза, нашел, где воровать – в храме Божием. Небось, ручка-то болит, а еще барин.

Я представляла себе вора всегда бедняком, а тут барин – брюки навыпуск. Ох, чудеса.

Отстояв вечерню, мы отправились на ночлег в монастырскую гостиницу. После утомительного дня я сразу уснула и спала так крепко, что к ранней [службе] меня не будили. Мать принесла мне нитку красных бус и торопила умываться, чтобы поспеть к поздней.

* * *

После обедни мы сошли вниз в часовню, ко Святому колодцу, где явился образ Знамения Божией Матери.

Несметная толпа богомольцев, с великой верой пришедшая сюда из разных губерний российских за сотни и тысячи верст, принесла в сердцах своих радости и горести, чтобы выплакать их или чтобы благодарить за тихие милости Пресвятую Владычицу. Я помню, когда приносили к нам в деревню эту чтимую святыню, все от мала до велика надевали лучшие одежды. Мылись-чистились избы, и столы застилались самыми лучшими скатертями, точно к светлому празднику.

Ежегодно свершались в нашей избе акафисты Пресвятой Богородице, а последний раз, в 1918 году, в родном Винникове была у меня всенощная перед образом… И вот теперь, когда я живу на чужбине, вдруг, точно Божия милость, появляется здесь, в Париже, родная святыня. И как припала я к ней – хлынули ко мне трепетные волны воспоминаний.

Было в тот день почти пусто в посольской парижской церкви, а посредине, на аналое, увенчанный розами, покоился образ, из-

под которого трогательно виднелись концы простого, шитого крестиком, полотенца. Как все это дорого, как близко сердцу – точно повидалась я со всеми родными, побывала в нашей беленой горнице. Вот почему не расстаюсь я с сухим цветком, который дала мне сестра из святого венка, осенявшего образ…

Прожили мы в Коренной три дня, и мать решила пойти в город Курск и уже оттуда – домой.

Увидеть город – вот чудеса, – тот дальний город, откуда к нам в ясный день доносится тихий благовест. Я не раз слушала бархатный курский звон, долетавший до нас за многие версты. И вот я иду, нет, еду на расписной палке, и Машутка не поспевает за мной. Скорее, скорее бы город.

– Мама, что там белеется большое?

– Это, Дёжка, ворота Московские[4]. Поставили, сказывают, их, как к нам в Курск изволила государыня Екатерина Великая жаловать. Вот в ворота те она, матушка, и въезжала.

Недалеко от ворот, у хмурого желтого здания, работали люди. Были все они в сером, как один, и серые шапки без козырьков.

– Кто, мам, такие: чай, школьники?

– Нет, несчастные. Господь их ведает, за какие дела сюда их послали. Только несчастные.

И мать ступила к одному из них и дала пятак.

– Прими, милостеньку, Христа ради.

Я тихо спросила:

– А они не разбойники?

– Может, есть и разбойники. Арестанцы они.

Мы шли по длинной и ровной Московской улице, которая мне показалась прекрасной. От удивления, засунув палец в рот, я спотыкалась на каждом шагу и еле поспевала за матерью, глазея по сторонам.

А шляпки встречались одна наряднее другой, а над головой висели балконы. Дивило меня их устройство: без подпорок, они словно бы висели в воздухе и очень напоминали мне большие серые гнезда ласточек. И Машутка примолкла, а рот открыт. Так и дошли до собора.

На колокольне собора курского знаменит Чудо-Колокол. Его Божий звон плывет чистой и мощной волной по окрестностям. По вечерней зоре мы не раз всей семьей выходили на крыльцо избы, благоговейно слушая дальний бархатный благовест. Горячо я молилась в соборе и давала всяческие обеты: замуж не идти и всем сказать, чтобы меня не дразнили «сенькой сопатым» и «женихом», еще попрошу, чтобы отец отдал мне старые ясли, а мать попонки из приданого моего, а остальное пусть себе заберут.

Я же ясли прикрою попонками, заставлю их на зиму снопами и, по примеру древних подвижников, удалюся от мира в пустынь. Далеко забираться в лес на житье отшельное страшно мне; надо думать, можно спастись и в яслях на огороде.

Еще дала обет не сердиться и у Машутки прощения просить, что потихоньку ругала ее черным словом.

Из собора пошли мы ночевать в Девичий монастырь[5], к знакомым монахиням. По дороге, где были лавочки с пряниками, я забыла, что в подвижнической жизни надобно воздержание, и все приставала, чтобы мать пряника мне купила. Просто глаза разбегались: разноцветные коврижки и белые коньки, карамель всякая в золотой бумаге, на концах бахрома. У Козурки, нашего деревенского лавочника, такого и не бывало.

В Девичьем монастыре все знали Акулину Фроловну и встретили нас приветливо. Монахини гладили меня по голове. Монастырский двор был выложен красным кирпичом, в елочку. У каждой кельи цветов было множество. Тишина. Монахини не ходили, а как бы скользили без шума. Хорошо, как в раю. У двух старушек-монахинь, к которым мы пришли ночевать, кроткие лица так и светились тихой радостью, а глаза были ясные, как у детей. Старшую звали Милетина, а которая помоложе – Конкордия.

Уютные кельи устланы самодельными ковриками, лампады теплятся у образов. Покойная тишина и запах русских монастырей: кипариса, ладана, мира.

Нас угощали чаем с вишневым вареньем и сдобной булкой. Подавала на стол келейница Поля, некрасивая, но милая девушка. Вдруг за дверью послышался молодой голос:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

– Аминь, – ответила мать Милетина.

В келью вошла молодая монашка в остроконечной черной повязке, с бледным лицом. Она попросила благословения у матушки Милетины и пригласила ее на спевку: матушке Милетине хотя и было уже под шестьдесят, но была она лучший канонарх[6] монастырский.

И вот мы в церкви стоим, а с левого и правого клироса идут тихо и стройно черные монахини. Вот стали они полукругом перед Царскими вратами, а посреди матушка Милетина с морщинистым, но тонким лицом, прекрасная в своей черной мантии.

– Глас шестый. Господи возвах к Тебе, услыши мя.

Проникновенному альту плавно ответил весь хор.

В нежной волне голосов слышался мягкий бас. К моему удивлению, баском пела тоже монахиня – бывает…

Я еле сдерживала слезы умиления. Множество свечей, как стая огненных мотыльков, колыхалось над огромными серебряными подсвечниками, заливая светом своим драгоценные ризы святых. У большого образа Матери Божией играет разными огнями множество лампад. К этому образу чинно подходили и прикладывались богомольцы. Там стояла монахиня и вытирала со стекла следы поцелуев чистым полотенцем. Сияли пелены, сказочно расшитые золотом. Все сияло изумительной красой. Меня охватил молитвенный восторг, я твердо порешила уйти в монастырь…

* * *

Не расставалась я с мыслью уйти в монастырь и когда мы вернулись с богомолья домой. В моей детской голове стояли образы кротких монахинь.

Прошли праздники, закипела работа. Мне дела было много, да еще любимого: ездить в поле с отцом, таскать там снопы и навивать возы, а за это, в награду, возвращаться, сидя высоко на возу, и сбрасывать снопы на гумне.

Через три дня началась молотьба – вот раздолье. Поставили сушить снопы на току. Рожь золотится на солнце, пахнет свежая солома, амбар и половень открыты: вся жизнь здесь, на току.

Под густой ракитою стоит ведро студеной воды. То и дело покрикивают:

– Дёжка, дай воды!

Сестра Маша на три года старше меня. Сидит Маша в тени и вышивает на пяльцах. Она у нас немного хромая, а потому ее мало тревожат: она всего больше занимается рукоделием.

И любила же я, когда дома была молотьба: как станут по местам, да как взмахнут шестью цепами – заговорят гулко цепы – только снопы подскакивают.

Ну и жадные на работу, как будто боятся, что у них отнимут ее. В один миг копны две уже обмолочено, а к вечеру уже обмолочен весь одинок ржи, и вырос золотой скирд соломы, а на скирд я взберусь и оттуда лечу кубарем прямо под ноги сестрам. Те роняют носилки, и, пока соберутся меня ловить, я уже далеко.

– Ну подожди ты, дьякон патепский! – кричат мне вослед, да я знаю, что всем весело на молотьбе, и угроза мне не страшна.

Одна только Маша хмурится. Бедняжка завидует, что не может разделить с нами такую работу…

А за молотьбой и Покров близко.

С нетерпением ожидала я Покрова: первое – в школу пойду, а

второе – предстояла на Покров свадьба Афоняки, старшего сына Потапа Антоныча. Все говорили, что свадьба должна быть богатая: Афоняка в городе жил, а вернулся домой хорошо одетым, с деньгой.

– Умный малый, сберег копейку, не пьяница, – говорили бабы.

А когда вышел на улицу Афоняка в суконной поддевке, в шалоновой рубахе, да в новых сапогах с набором и глубоких калошах, то все бабы даже поахали:

– Ну и малый!

Афоняка был такой же веселый, как и Якушка, его младший брат.

Невеста была сирота, Татьяна Абрамьевна, красивая девушка, работящая, а певунья – лучше не надо. Служила она с малых лет в горничных у Рышковой барышни.

Имение Рышковых за рекой, в деревне Каменевка, и бывало, как запоет Татьяна в барском саду, у нас слышно. Она пела песни, а не кричала, как обыкновенно в деревне девки песни кричат.

Голос у нее был как чистое серебро. Барыня Татьяну любила и наделила хорошим приданым.

Татьяна и Афанасий – пара чудесная.

Богат Покров свадьбами. Все стараются покровские свадьбы справлять: на Покрова у крестьянина всего полная чаша. Все собрано, заготовлено, полны закрома зерна. О богатых и говорить нечего, но даже и у таких небогатых, как мы, к Покрову всего вдоволь.

У моего отца было семь десятин пахоты. На семью в семь человек – это немного, но родители мои были хозяева крепкие, и при хорошем урожае и у нас были достатки. Бывало, зайдешь в амбар: закрома полны, пшено, крупы, на балках висят копченые гуси, окорока, в бочках солонина и сало. А в погребе – кадки капусты, огурцов, яблок, груш. Спокойна душа хозяйская, все тяжким трудом приобретено, зато благодать, зимой семья благоденствует.

Мать усердно гоняла нас в лес: дикие яблоки для сушки возами возились, мешками таскали орехи, которые припрятывались до Рождества. Было и у нас изобилие.

И вот на Покров день, с раннего утра, у Потапа Антоныча поднялась в доме горячка: готовятся к пированию. Мой отец и мать были приглашены почетными поезжанами. К полудню все готово. Брякают бубенцы, сытые кони не стоят на месте; кони – гордость Потапа Антоныча; у него на конюшне всегда сытые кони.

Тронулся свадебный поезд, трезвонят бубенцы, залилася гармоника, мелькают яркие шали поезжанок: жених по невесту

поехал.

Поезд двинулся кругом, через плотину, а сестры Афанасия и мы переправились на лодке и прямо через сад в усадьбу Рышковой. Во флигель, где обряжали невесту, трудно было войти: все окна облеплены любопытными, сени полны народа, но мы-то родня, и нас в горницу пустили.

Только что благословляли Татьяну посаженые отец и мать. Все заплаканы, всех опечалила песня, которую пели подружки, расчесывая косу невесты. Эту протяжную, жалобную песню всегда поют невесте-сироте, но обыкновенно до конца не доводят, и прерывается пение рыданием подруг и невесты:

У ворот на елке, у ворот на елке,
Слеталися пчелки, слеталися пчелки,
Одной пчелы нету, пчелиной матушки.
Пчелиная матушка в отлет отлетела,
в отлет отлетела.
К Татьяне в беседу съезжалися гости,
Одного гостя нету, гостя дорогого
батюшки родного.
Татьянин батюшка, он у Бога на поруках.
Просился у Бога с небес да на землю,
На сиротскую свадьбу,
сиротскую свадьбу.
Сироту посмотреть, как сирота снаряжена,
С кем посажена, кем благословлена.

Татьяна, расстроенная, взволнованная, ждала жениха. И вот послышались голоса: «Едут, едут». Подружки засуетились, выбежали на крыльцо, навстречу жениху, который уже въезжал в ворота.

Запели подружки:

Ой прилетел да сизой голубь из чистого поля,
А сизая голубушка с зеленой дубравы,
Встужилася, взгоревалася по воле Татьяна:
Ох, свет ты моя, ох, свет ты моя, батюшкина воля,
Ох, свет ты моя, ох, свет ты моя, матушкина нега,
Такой воли, такой неги у свекра не будет.
Стоят кони за воротами, а все оседлавши,
Вороные, за широкими, хорошо прибравши.
Разыгрались, разыгрались кони вороные,
Побежали, побежали в сады зеленые,
Поскусали, потоптали цветы голубые,

Позади их шла Татьянушка, плакала-рыдала.
Она плакала-рыдала, цветы собирала,
Она цветочки собирала, на ленту вязала,
Своему другу Афанасьюшке шляпу убирала.
У Афанасьюшки, у Потаповича, за шляпой цветочек.
Ой, кто же тебе дал, ой, кто подарил?
Татьяна дружочек!

Жених ступил из повозки и с дружками взошел на крыльцо. Подруги невесты сделали заставу, требуя выкупа. Он грозит – силой возьму, но застава стоит крепко. Жених бросил рубль – дороги не дают. Бросил три – заставу сняли. Степенно входили в горницу поезжане. Кланяясь, встречала их Татьянина тетка:

– Милости просим, сваточки, сваточки.

Жених и невеста стояли у красного угла. Невеста держала поднос и две рюмки, а жених графин с водкой.

Рядом с невестой сваха держала дары.

Поезжане подходили под рюмочку, получали дар, вытирали им губы, и от себя одаривали невесту: клали на поднос деньги. Дары перевязывались через плечо.

Когда обряд с дарами был окончен, все уселись за стол. Нареченные сидели на вышках.

Девушки запели:

Ой, по морю-морю, да по синему морю,
По широкому раздолью
Там плыли, восплывали да четыре утёны,
Да четыре молодые.
Первая утёна, наперед выплывала, наперед выплывала.
Во терем заглядывала,
Что во тереме играют, во высоком гуторают,
Столы выдвигают, дубовые накрывают,
Полотна катают, сундуки накладают.
Татьяна Абрамьевна по сенюшкам ходит,
Тяжело воздыхает:
Ох, холсты, холсточки, холсты мои льняные,
Не год я вас пряла, не два собирала,
Пришла негодина, веселая вечерина,
Весь дар раздарила,
Я свекру рубашку, свекрови другую,
Милым деверёчкам всем по порточкам,
Милой золовушке из косушки ленту,
Из косы голубую,
Носи украшайся, замуж собирайся.

Тут гармонист приложился щекой к мехам гармоники и рассыпался мелким бисером плясовой. На средину горницы выплыла сваха со сватом. Уж каких только колен не выкидывал сват: то присядет, то вдруг побежит, будто хочет сваху схватить. А сваха разгорелась, и полушалка упала, и дрожит на голове белый, шитый чепец.

Когда гармоника смолкла, у свахи в руках появилась тарелка и графин. Подружки вышли из-за стола и стали «обыгрывать» поезжан. Наполнив рюмки, они запели, обращаясь к моему отцу:

Пойдем рядом, пойдем рядом по боярам,
Найдем гостя, найдем гостя молодого,
Васильюшку Абрамыча молодого.
Васильюшка человек славный и богатый,
Славился под Москвою своей казной и любовью.

Игрицы обыгрывали моего отца и его «боярыню» – мою мать. Все знали, что Василий Абрамыч любит помучить игриц: они пели, а рюмка стояла нетронутая. Запели отцовскую любимую:

Как по сеням, по сенюшкам,
По новым сеням похаживала
Молодая боярыня Акулина Фроловна свет.
Она ходила-похаживала,
Говорила-поговаривала,
Говорила-поговаривала своему другу милому – голубчику белому,
Все Василию Абрамовичу:
Ох, друг мой миленький – разголубчик беленький,
Прикажи, сударь, карету подавать,
Во каретушке шесть лошадей,
Чтоб кучера были молоденькие,
Чтобы коники вороненькие,
А форейторы приубраны,
Принапудрены, напомажены.

Отец, ради шутки, выпив рюмку, ничего не положил в тарелку. Игрицы просили:

Васильюшка, отдари, отдари,
И нас, игриц, не мори, не мори,

Ведь нас, игриц, немножко, немножко,
С игрицей девяносто, девяносто.

Тогда «боярин» не спеша достал деньги и, к общему удовольствию, бросил на тарелку копейку.

Игрицы не остались в долгу и запели:
У нашего гостя, у нашего гостя Карманы худые.

Тогда отец сделал вид, что достает гаман[7] с деньгами. Сваха, приплясывая, подняла тарелку над головой, а все подхватили:

Ой, что в столе гремит,
Ой, что в дубовом гремит,
Васильюшка казной шевелит,
Абрамович золотой.

И самой веселой песней стали задобривать «боярыню»:

Как на горке, на горушке,
Как на горке два терема стоят.
На тереме, на тереме два голубчика сидят,
На тереме два голубчика сидят,
Они промеж себя речи говорят,
Разговоры разговаривают
Про такого удалого молодца,
Про Василия Абрамовича,
Что Василий Абрамович,
Он богатый именитый человек,
Все по Курску, по городу гулял,
Пятаками дорогу устилал,
Полтиной по городу шибал,
Рублем ворота отворял,
С-под неволи сирот выкупал.

Отец кинул на тарелку три рубля, игрицы завертелись вихрем:

Благодарствуй, Васильюшка,
На твоем большом дару,
Что горазд игриц дарить

Не рублем-полтиной,
Золотою гривной.

За отцом, в черед, поднесли чарочку моей матери. Она игриц не мучила, а выпила сразу, только попросила красненького, потому что зелёного[8] не уважала. Выпив, мать плеснула остатки в потолок, чтобы молодые «побрыкивали», и опустила на тарелку полтину.

В ее честь пели и плясали старательно: все знали, что и сама Акулина Фроловна большая певунья-игрунья.

Я видела, как загорелись у матери светлые глаза, как трудно ей удержаться, чтобы не выскочить, не ударить «в три ночи», но поезжанам еще не полагается пляски: должны они сидеть за честным столом.

Залюбовалась я матерью – так она оживилась: голова заправски повязана кубовым платком, из-под повязки выбилась на лоб прядь, как не спрячет – все выбивается.

По-моему, прятать прядь и не следует, она очень мать украшает. И как красиво ее новое коричневое платье с широкими рукавами, белый воротничок и турецкая шаль на плечах. Лучше матери нет никого. Ну, конечно, никого нет.

У кого же такое чистое хорошее лицо? А голубые, добрые глаза, а зубы – веселая белизна, когда она засмеется, у кого есть такие?

Мне стало скучно, что она далеко сидит от меня и не могу я к ней подойти и прижаться.

* * *

Да, любила я мать. Бывало, как уйдет она из дому, все я смотрю в ту сторону, откуда она должна показаться. Помню, я всегда спала у нее в ногах, помню, как обнимала и целовала ее крестьянские жесткие ноги, в трещинах от загара, не знавшие устали ради нас…

Она надорвалась бы, лишь было бы хорошо ее детям. Бывало, придет из города усталая, измученная, а с сияющим лицом бережно достает виноград, купленный на работные гроши, и нас всех оделит. А мы знаем, что она не побаловала себя даже одним зернышком-виноградиной. Наша милая мать.

* * *

За свадебным столом рядом с матерью сидел барин, маленький, седенький старичок – управляющий имением Рышковых.

На деревне его прозвали «Черт возьми», за его любимую приговорку, которую он повторял чуть ли не на каждом слове. А усы да борода у «Черт возьми» были совершенно желты от табаку. Сейчас он весел, красноречив, вот встает, говорит:

– Сегодня, черт возьми, я душевно рад. Моя любимица, черт возьми, Татьяна – девка хорошая, сирота, а умная, черт возьми. И ты, брат Афанасий, – молодец, черт возьми.

Моя мать, не любившая черного слова, дергала его за рукав:

– Семен Петрович, батюшка, ну что ты, под святыми, да таким словом непутевым…

Но Семен Петрович не унимался, он даже прослезился, когда сказал, что Татьяна, черт возьми, сирота, и что судьба послала ей хорошего, черт возьми, жениха.

Всем понятны слезы Семена Петровича, он сам одинокий холостяк, а ласковая Татьяна, как дочь, заботилась – украшала его старость. Лишается он теперь этой радости.

Пирование идет к концу, скоро повезут в церковь невесту. Мои сестры поспешили к лодке, чтобы попасть на венчание. От них не отстала и я.

К вечеру из-за леса Мороскина, от деревни Каменевки заслышались бубенцы. Я юркнула в толпу народа у церкви. А среди любопытных Фенька Боглаева, Филиппика и Стефаниха, прозванная за неопрятность свою Желтоножкой, – лютые сплетницы деревенские судачат да стараются разглядеть все получше, даже и то, чего нет. Приближается свадебный поезд, народ загудел.

– Гля, гля, две подводы с добром и коврами покрыты. Сундук-то агромадный, а укладка поменьше, – хихикнула тут Желтоножка.

– Дать, можа, он и пустой сундук. Кабы она нам его показала, – прошипела Фенька Боглаева.

Придурковатая Филиппика дернула носом и захихикала:

– Сундук-то, сундук, можа, он и пустой, а можа, с поленом: с-под ковра не видать. А вот невеста – щуплая, жиденькая, для нашей работы не годится, это ей не тарелки у господ лизать.

Тут сторожиха Лукерья заступилась за невесту:

– Ну и язык у тебя, Филиппьевна. И никому-то ты проходу не дашь. Ты на себя посмотри: ни кожи ни рожи. Эх ты, честная вдова.

Филиппика вскипела:

– Дыть, пускай она с мое поживет. Мой покойной Лоривон,

Царство ему Небесное, злой был, черт ему в живот, уже на смертном одре лежит, а сам дерется… Во, домовой. Не жизнь, а каторга.

А тем временем невесту и жениха уже ввели в церковь. Хор пел торжественно, паникадило горело, на аналое лежали свечи средь алых цветов: богатая свадьба.

По обычаю, лицо Татьяны было закрыто шалью, и, когда сняли плат, я увидела, как бледна Татьяна. Она опустила глаза и, пока длился обряд, не подняла их.

По душе пришлась мне Татьяна.

Я полюбила ее, и не ошиблось тогда мое детское сердце. После венца все устремилось ко двору Потапа Антоныча. На пороге горницы, в шубе навыворот, с хлебом-солью стояли Феодоровна, мать Афанасия, а рядом Потап Антоныч с образом и чарочкой. На полу был постлан еще полушубок, шерстью кверху, чтобы молодые были богаты.

Когда новобрачные взошли на крыльцо, их засыпали хмелем, а Потап Антоныч, тряхнув головой, вымолвил:

– Добро пожаловать, молодайка, во святой час со молитовкой.

Под окнами заплясали и запели, величая молодых:

Во горенке, во новой,
Стоит стол дубовой,
Как на этом на столе,
Скатерточка нова,
И нова и бела,
В пятьдесят цепков ткана.
Как за этим за столом
Да сидит голубь молодой
Со голубушкой сизой.
А што голубь, а што сизый
Свет Афонюшка душа.
А голубушка сизая
Татьянушка хороша.
Соезжались, собирались,
Шуры – братия его,
Дивовались, дивовались
Молодой жене его.
То ли баба, то ли баба,
Молодица хороша.
Ох, каб эта молодица —
Младцу в руки вручена.
Я б белил-румян купил,

Я б не бил, не журил,
Уж я летнею порою
Во колясочке возил,
А зимою студеною
На санях-козырях,
На санях-козырях,
На ямщицких лошадях.

Гудела горница пляской, песнями, заливался гармонист, дробным жемчугом рассыпался Якушка: то соловьем засвищет, то выкрикнет: «Раз, два, чище!» Ну и отвел же душу, ну и уважил. А средь гула слышалась песня подвыпившего Потапа Антоныча. Сколько я его помню, всегда он пел ту же песенку:

Через реченьку, через быструю,
Да лежат доски, тонки-хлестки.
По тем доскам я ходила,
Одну доску проломила.
Да журил-бранил меня свекор,
Да бранил-журил не за дело,
Все ж за самое безделье.

Уж близко к полуночи, попеняла мать сестрам, что я еще тут глазею, когда давно пора мне спать: завтра в школу идти. Наш двор и двор Потапа Антоныча, были перегорожены только плетнем, и до зари доносились к нам песни и гул пляски…

* * *

Наутро долго будила меня мать.

Утро радостное. На переборке, над кроватью, весело бегали солнечные зайцы. В избе пахло блинами.

Висит на шесте мое розовое платье, передник с петухами и шагреневые полусапожки, что за шишку я получила. Уж не раз я в них щеголяла.

Сегодня, для мягкости, полусапожки мои смазаны салом. И вот я нарядно одета, в моей косичке красуется лента, которую мне подарила дьяконова дочь, Наталья Ивановна, за то, что я носила продавать ее стряпни пирожки на станцию железной дороги: два месяца назад провели в трех верстах от нашего села чугунку. И на удивление всему селу прогремел, дыша огнем, поезд. Тут-то Наталья Ивановна и порешила кормить

путешественников теплыми пирожками.

А кто же, как не Дёжка, поспеет к поезду, пока пирожки не остыли.

Я охотно бегала на чугунку, очень много было там любопытного, много разных господ, и хотя страшилась я черного чудовища-паровоза, но и к нему попривыкла, а свой товар сбывала удачно: Наталье Ивановне всякий раз приносила пустую корзинку и денег двадцать пять копеек. В награду за такую торговлю получала я один пирожок – действительно сдобный – и копейку в придачу. А вот сегодня прислала Наталья Ивановна хорошую ленту. Повязана моя голова беленьким, с желтой каемкой, платком, а по тому случаю, что тулупчик мой еще не готов, нарядили меня в материно казинетовое полупальточко.

Помолились Богу, и я степенно и важно вышла на улицу, – впервые, кажется, не вприпрыжку.

Около школы толпились девочки, мальчики. Дверь была еще закрыта, я успела оглядеться: много незнакомых, но много и винниковских.

Хотя и весело было тут, все же сердце билось тревожно. Вот застучал деревянный засов, распахнулась широкая дверь, и туда хлынул поток ярких платочков, картузов, больших отцовских шапок. В гомоне детских голосов трудно разобрать, кто чего хочет. Я, новичок, скромно жалась, почтительно всем уступая дорогу, даже пинки, которыми меня угощали, безответно терпела. Я не отходила от Серафимы, дочери священника. Она была подруга моих игр, а училась уже второй год и могла за себя постоять. Но вот раздался голос: «По местам». И в просторном, белом классе утихло: на пороге стоял учитель, Василий Гаврилович. Высокий, с приятным лицом, в сером костюме, белоснежный воротничок, манжеты, очки золотые, а штиблеты так и блестят. Меня еще не было на свете, когда он уже учительствовал у нас. Мужики его любили.

– Умный наш Василий Гаврилович, добрая душа, честности непомерной, настоящий барин, даром что бедный, а все село по милости его грамоту знает – так говорили господа мужики, да еще прибавляли: – Это не чета Богданову-барину, того мы и в глаза не видим, только его управляющий, немчура, знай ему деньги высылает, а барин их в карты проигрывает.

И действительно, мужики говорили недаром: как раз в эту зиму управляющий получил телеграмму: «Вывози, что можешь и что успеешь, имение уже не мое, завтра приедет новый хозяин». Богдановское имение было проиграно в карты.

А учителю нашему несли к празднику кто что мог, всякую живность да и зерно: любили Василия Гавриловича…

Учитель поздоровался. Пропели «Достойно есть», и сели мы по местам. Со мной рядом сидела Махорка Костикова, а Машутка сзади нас. У самой стены сидел Гришка Черкесов из деревни Богдановки.

Этот смуглый, как цыганенок, парнишка был бичом школы. Он сидел два года, а то и три, в первом классе. Гришка тотчас же дернул меня за косичку. Я покраснела до слез, но дать сдачи при учителе не посмела.

Моя однолетка Сашутка Сименихина, два сына ктитора[9], Ваня и Вася, Надька Гаврикова да сын лавочника Козурки, Миша, – все мы сегодня впервые пришли в школу и были потому тихие, боязливые. А Гришка Цыганенок чувствовал себя королем и щипал нас немилосердно – кто под руку попадался. Учитель тем временем вызывал старших к доске. Наконец он подошел к нам, держа в руках белые карты, на которых были написаны черные буквы.

Он показал нам одну и сказал, что буква эта называется – «А».

– Ну, скажите все разом: а…

– А-а-а, – ответили мы хором, но вышло очень нескладно, и Гришка передразнил.

Учитель строго посмотрел на него и сказал, что поставит в угол «столбом», если он еще раз позволит что-либо.

– А-а-а, – снова повторили мы разом.

А Гришка вдруг заблеял:

– Бээ-бээ.

Василий Гаврилович покраснел и тут же приказал Гришке стать в угол. Цыганенок стоял наказанный, а я подумала, что действительно мы блеем, точно овцы. И еле удерживалась, чтобы не последовать Гришкину примеру.

Так мы одолели три буквы, учитель ушел в свою комнату, класс зашумел.

Первая перемена…

А на втором уроке нам уже роздали буквари, доски, грифеля и задали урок писать палочки. Признаюсь, у меня эти палочки плохо выходили, такие несуразные каракули – пузатые.

Учитель покачал головой и сказал:

– Уж ты, Винникова, постарайся, а то для первого раза что-то плохо.

И помню, на третьем уроке, учитель принес потертую скрипку и роздал старшим ноты: впервые я увидела урок пения…

* * *

Вот я и учусь.

Теперь попривыкла: мне все дается, только палочки, овалы и полуовалы дурно выходят, как ни стараюсь.

Не одолею их, верно, и до самой смерти.

Гришки уже не боюсь: первое – сама ему сдачи даю, а второе – у меня защитники есть, Ваня и Вася, сыновья ктитора, ребятки неозорные, добрые…

Пришла зима. Как хорошо сидеть по зимним вечерам в теплой избе!

У сестры Маши научилась я вышивать на пяльцах, и теперь меня не тянет из дому: подруг вижу в школе, а дома работа, которая мне по нраву.

Подошли святки. Неумолчно гудут прялки сестер, а мать мотает пряжу и готовит красна[10].

Зима снежная, сугробы вровень с крышей. Славно кататься: заберешься на крышу сарая и мчишься-летишь прямо на речной лед.

Уже появились на свет Божий любимцы мои: кроткие, нежные ягнята. Мать всегда выносила их из хлева погреться в избу и сажала на печку. У меня приятная должность: ягнят караулить, чтобы с печки, часом, они не упали.

Мать и сестры уже выпряли все замашки и лен, основали красна, теперь внесут в избу стан, и будут сестры навивать пришву, а мать начнет ткать холсты.

Я досадовала, когда вносили в горницу неуклюжий стан, который застил свет, занимая пол-избы, но цевки[11] сучить я любила.

Под широкой лавкой, на которой я работаю, стоят три лукошка, а в них сидят на яйцах гусыни – злейшие мои враги. Не люблю этой птицы. Они высиживают птенцов, а кому стеречь – Дёжке.

У, противные, даже опустить ногу с лавки нельзя, кусаются, шипят, точно змеи. Еще хорошо, что сижу около мамочки и слушаю, как она шепчет молитвы. Все молитвы, какие знает, она перескажет и наступит на приножку и пустит в зев гладкий блестящий челнок:

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…

Быстро мелькнет челнок, в ловких руках застучит бердо[12], «стук-стук», а уста все шепчут святые слова.

Я усердно, на совесть, сучу цевки, чтоб были крепкие, – мамочке хочу угодить – насучу штук пятнадцать, в коробочку сложу: что мать мне сделать велела, то я и сделала.

А она мне за работу даст кусок сахару и скажет:

– Все равно что конфета.

Иногда убаюкивало меня мельканье челна, стук берда да теплая спина мамочки, и я засыпала. За окном, бывало, бушует вьюга, завывает на разные голоса в трубе, бешено мечет солому на крыше, а мне и не страшно. И просыпалась я уже на постели, не ведая, кто и как меня туда перенес.

* * *

В этом году, к весне, лучше всех расцвела у меня ветка черемухи. Под Андрея Первозванного поставили мы в бутылки черемуховые ветви и загадали: у кого расцветет, тот будет счастлив. У сестер зачахли, а моя ветка на удивление пышная.

Все говорили:

– Это ты будешь счастливая.

«Ну, значит, в монастырь уйду, – думала я. – В том мое счастье».

А на дворе весна… Снег почернел, стал рыхлым, проталины засинели, солнышко еще в робости, а припекает. Потап Антоныч встряхивал головой и почасту говорил:

– Благодать, во святой час. Надобно загодя съездить в город, а то через недельку половодье заступит.

И правда, недели через две под окнами у нас расшумелся ручей.

Мы с Машуткой устроили состязание, выбегали из избы босяком, залезали в рыхлый снег: кто дольше в снегу простоит, тот молодец.

Молодцом всегда бывала я, но и подзатыльники получала тоже я, если кто из старших приметит этакой спорт.

В избе не усидеть, так светла весна на дворе. Сестры моют, скребут у нашего ручья, чтобы даром под окнами не шумел. Мать кончила ткать; вынесли стан, избу белят: скоро наступит Великий День.

Кто же не знает радости радостей, Светлого Христова Воскресения?

После сурового поста, после зимней тесноты в избе, после упорного труда приходит вешний великий праздник, а с ним и святой заслуженный отдых.

С верой и чистотой готовятся встретить крестьяне Праздников Праздник.

Святая, Великая Суббота…

В тонком сумраке вечера теплятся лампады, стол покрыт скатертью с раскату, посреди стола миски с крашеными яйцами, а в углу, под образами, завязанный в белоснежный плат, стоит

кулич, готовый для освящения.

Утренняя суета стихла, только за печкой неугомонный сверчок-гурюкан, зазимовавший у нас, точит свои ножнички в тишине.

Отец еще управляется со скотиной, а мать переодевает платье, чтобы идти в церковь. Ожидая мать, я то и дело подхожу к куличу и еле удерживаюсь, чтобы не отковырнуть изюминку, а то и сахарный бисер. Но мать предостерегает:

– Смотри, Дёжка, не оскоромься, уже недолго ждать. Вон Настенька и Дуня с пятницы маковой росинки в рот не брали – все женихов вымаливают…

Мать вышла в сени. Тихо скрипнула дверь, пахнуло свежестью вешнего воздуха. Пелена у образов покачалась, чуть дрогнули лампады, и забегали тени по ликам святых, – будто ожили лики.

В избе осталась я да гурюкан. Сегодня всю ночь мать жарила и пекла, а гурюкан теплышко любит, – вот и заливается трескотней. Я ступила к куличу; больно пахнет душисто, но оскоромиться – Боже сохрани. Летося был такой грех, я отковырнула кусочек, а потом горько и долго мучилась.

Мои раздумья над куличом прерывает голос отца:

– Мать, а мать! Пора в церковь, народ уже собирается.

– Я готова, – отвечает мать.

На дворе темень, и отец идет с фонарем впереди.

– Не упади опять, – говорит он, когда мы переходим ручей.

Шумевший утром ручей сейчас затих и чуть слышно воркует, будто боится нарушить величие Святой Ночи. А неделю назад такой он был буйный: шумел, грохотал, тащил за собой все, что встречал по пути, спадая в глубокий овраг. Из году в год, в половодье, овраг ширится, углубляется: скоро к нашей избе подойдет. Раз ручей принес и выбросил под мое окно дар: деревянную куклу. Краска с нее давно была смыта, но радость моя не стала от того меньше.

Другой раз наш ручей подарил мне большую раковину. Она переливалась радугами, и я решила, что раковину принес ручей с какого ни на есть дальнего моря и что вот из этой самой-то раковины и делают те пуговки, которые так мне нравятся…

А на прошлой неделе ручей наделал мне и беды: хотела его перейти, но подмытая доска провалилась, и по колени я шлепнулась в бегущую, мутную воду.

Мать осердилась, что я промочила онучи и лапти, меня загнала на печку, а лапотки мои поставила просушить. Утром мать достает их из печи, а один лапоть сгорел. Эх, беда, лапотки-то были новые. Николай сплел мне их из тонких лык, с венчиком.

Я поплакала, а сестры и теперь меня дразнят:

– Дёжка, а куда твой лапоть подевался…

В темноте по селу мелькают, плывут разноцветные огоньки; невидимая рука несет их к храму, который весь светится, как тихая Купина Неопалимая.

В церковной ограде лег белый венок из узелков с куличами: святить принесли.

Пахнет свежая травка, пусть ее протоптали мужицкие каблуки. На паперти в тихой беседе сидят прихожане. Обыкновенно шумливые, мальчишки попритихли. Нельзя и подумать, что вокруг церкви и в ней такое множество народа.

Благоговейная тишина. Слышен всем чистый голос Мишутки Стефановича, читающего деяния.

Но вот чтец деяний апостольских смолк, только слышно сдержанное покашливание. Вот заколыхалась над головами Плащаница, тихо поплыла, сокрылась в алтаре. И зазвенели серебряные хоругви, закачались над толпой образа, высокое распятие, и одна за другой вспыхнули свечи, кротко озаряя лица. По щекам у многих катятся слезы. Тишина.

Тогда не дивилась я ни тишине, ни слезам, тогда Дёжка, как все, переживала благостную минуту. И теперь я знаю, что нет драгоценнее сокровища у человека, чем эти слезы – тайная вечеря души, свершаемая в святой тишине.

– Воскресение Твое Христово Спасе, Ангелы поют на небеси и нас на земле сподобити чистым сердцем Тебя славити.

Я прижалась к матери, и вся – слух. Святое песнопение то приближалось, то удалялось; крестный ход идет кругом церкви. Снаружи, у запертых дверей, послышался возглас батюшки:

– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…

Ликующе понеслось в ответ:

– Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

– Яко исчезает дым, да исчезнет.

– Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ… – ликовало уже в храме.

Вспыхнула, побежала огненная змейка, зажглось паникадило, ярче засверкала белая риза священника. Лица озарены, улыбаются: все отошло – горе и злоба.

Отдыхает душа.

Крестом, убранным цветами, священник осеняет молящихся.

– Христос Воскресе!

– Воистину Воскресе, воистину…

Крепко живет во мне память о светлых днях милого детства. И крепка во мне вера, данная моей безграмотной матерью. Мать,

да будет благословенно имя твое. Сокровище, завещанное тобой, я не потеряла и здесь, на чужбине. Оно дает мне силы сносить горечи обид, дает надежду дождаться светлого будущего…

* * *

Еще я спала, а Машутка уже прибежала за мной звать на качели. Доносились из-за перегородки голоса сестер и подруг: Домочки, сестры Якушки, и Параши Куликовой, старшей Машуткиной сестры.

Они наряжались к улице. Домочка тревожно тараторила:

– Пришли ребята богдановские и заверские с гармошкой, а наши говорят, пусть они только попляшут, мы им ноги-то поломаем, к нашим девкам дорогу забудут, у них свои есть, мы к ихним не ходим… Ой, боюсь, девоньки, Якушка будет задираться, озорной он, настырный…

Дальше я не слушала – убежала на качели.

А там недотолпное.

Ребята качают девок, а Калиныч, парень заверский, разливается на гармонии. Ну и пригож Калиныч: на картузе, над правым ухом, павлинье перо, рубаха красная, вышитая и суконная поддевка нараспашку. Девки на него заглядываются, наши ребята хмурятся.

Я давно слышала, что наши парни не любят заверских и богдановских и обзывают их «хамами». А потому они «хамы», объяснила мне мать, что богдановские – бывшие крепостные помещика Богданова, то же и заверские, вот и называются «хамы», а мы, винниковцы, были всегда государственные, не барские.

Не любили винниковские ребята, когда «хамы» приходили к нам «хварсить» перед девками. И нагнало грозу: Якушка под чужую гармошку не пляшет, а Иван Алешин прямо обещает гармонию Калинычу разбить.

– Ишь, хамова, ястреба, куражится! – свирепо плюнул Иван, повернул от качелей, а за ним ребята. А девки те пляшут, они рады гостям: качаются, играют в горелки.

У меня подруг много, и мы завели свои игры около мельницы. Играли в «селезня»: становились все в круг, брались за руки, «утка» ходила по кругу, а «селезень» за кругом. Селезень утицу старался поймать, «ворота» ему закрывали, пели:

Селезень утку гоняет,
Молодой серую загоняет:
Пойди, утица, домой,

Пойди, серая, домой,
У тебя семеро детей,
Девятая утка:
Шутка Машутка,
Селезень Васютка,
Кочет Ивашка,
Курица Парашка.
Селезень утку загоняет,
Молодой серую загонял…

Играли еще в «коршуна», в «пашню»… И вдруг донеслись от качелей испуганные крики. Я побежала туда, а сестра Маша, бледная от испуга, схватила меня за руку:

– Пойдем, Дёжка, домой. Иван Калинычу гармонию разбил, Якушка и наш Колька ему помогали. У Николая рубаха разорвана, он пьяным-пьян. Его домой повели. Достанется Николаю от тятечки.

* * *

В избе отец сидел туча тучей. Он уже видал Николая, ни слова ему не сказал – что с пьяным говорить. А мать горевала:

– Малому девятнадцать лет и никогда не пил. А все приятели.

– Я вот покажу ему завтра приятелей, молокососу, – грозно сказал отец.

Когда Николай проспался, отец поговорил с ним сурово, а чтобы ему неповадно было в другой раз напиваться, да еще в Светлый Праздник, выгнал Николая из дому, чтобы ноги его не было.

Ой, никогда не был отец таким страшным. Мы тайком носили брату обед и с нетерпением ждали, когда отец его простит.

И вот среди ночи нас разбудил стук в дверь.

– Кто там? – спросил отец.

– Тятечка, это я, – послышался дрожащий голос брата. – Я пришел сказать – только что шел я через погост мимо могилы Костика, сторожа церковного, которого вчерась схоронили, а он в могиле стучит.

– Мели, Емеля, твоя неделя, – засмеялся отец.

Но Николай уверял, что он всех соседей разбудил, и они тоже слышали, как покойник стучит.

Отец велел ему ложиться спать и мертвецов по ночам не беспокоить.

Не знаю я, стучал ли покойник, или брат это выдумал, чтобы вернуться домой, но напугалась сильно. Спряталась к матери под мышку и не засыпала от страха всю ночь: как бы Костик с погоста к нам не пришел. Погост-то близко, напротив…

* * *

Светят-мелькают вешние дни. Уже расцвела и зеленеет весна, наша желанная гостья.

Березка, гордость матери, доверчиво распустила под окном свои длинные зеленые кудри. Если бы она знала, как с разбега будут качаться ребята на ее зеленых кудрях, не опустила бы их так низко к земле.

Под березкой сидят сестры, Домочка, а с ними молодайка Татьяна. Они белят холст: мочат его в кадке со щелоком и расстилают по зеленой траве. Холсты сохнут на солнце, а Татьяна вышивает первенцу своему чепчики и рубашечки, девушки себе приданое, и все поют:

И водица лилеет, трава зеленеет,
Сады расцветают, соловьи распевают,
Кукушки кукуют: у кукушки нет дружки…

Издали, с огорода, слушаю я пение: я караулю огород с коноплей.

Только успею прогнать воробьев, как сядут вороны, прогоню ворон, а петух уж сзывает кур: «Пожалуйте, мол, конопли вкусной откушать».

Я бегаю из конца в конец по огороду, кричу:

– Тучу, тучу!

Пернатые воры особенно нахальны ясным утром: они вовсе не боятся моего помощника – Чучела, которое я смастерила на страх врагам из тряпья, с растопыренными руками и с трубкой в зубах.

Воробьи надо мной просто смеются: усядутся на голову пугала и оживленно чирикают. Ну что тут поделаешь? Только и жду, когда конопля взойдет.

А тут еще забота: у меня за сараем сад, и растут в том садочке мята, заря, ноготки да подсолнухи.

Там изгородь нужно поправить, летось я сама забила колушки, заплела плетень, да осенью мерин Потапа Антоныча мой плетень завалил. А во всем виноват Якушка: мерин ушел из конюшни в бурьян, а Якушке и горя мало – знай посвистывает, пока Потап Антоныч не хватился.

– Якушка, идол медной, ты что же это мерина упустил? Загоняй, подъясельный, скорей. Прямо не узнать скотины.

И впрямь, у мерина черная грива и хвост от репьев и татарок сбились в серый колтун.

Якушка погнал мерина, тот плетень мой завалил, а Якушке поправить Бог удали не дал. Вот и нужно наново самой загораживать…

Весна хороша, да гуси одолевают: каждый день их на речку гоняю.

За такими моими трудами подходит и Троицын день.

* * *

На Троицу выгон села Винникова пестрит нарядной толпой. Выбелены и убраны зелеными березками избы, разукрашен цветами и зеленью храм. Троица – наш престольный праздник.

Я поднялась до заутрени, дел много: нужно сбегать в Мороскин лес за цветами. Машутка меня ждет.

Чуть боязно идти нам в чащу: сегодня русалки свирепствуют и могут защекотать. Мы идем до заутрени, а раз в колокол еще не ударили, русалки свободно разгуливают. Другая опасность – дед Пармён, сторож: ему только попадись. Ой и злющий же! Он сторожит сенокосы Рышковой, а там на бугре как раз растут цветики, такие красивые, каких нигде нет. У деда толстая дубинка, и если застанет кого на сенокосах – беда.

– Ух вы, паралик вас расшиби! – крикнет Пармён и пустит вдогонку, под ноги, дубинку, ну так и норовит ноги переломать. Страшно.

Посоветовались мы с Машуткой и решили все же за цветами идти. Машутка – первенец, я последыш, и бояться нам нечего, русалки первенцев и последышей не трогают. И дед Пармён, верно, не ждет, что мы так рано на сенокосы придем, авось не увидит. А цветов свежих нужно: на Троицу приезжает тетка Стеша из Бесединой, она пойдет к обедне, а я ей цветов соберу, и отцу, и матери, и нашу икону украшу свежим венком.

Дед Пармён нас и не учуял: мы дали крюка и обошли его сторожку. Все было тихо, и набрали мы полные охапки цветов, еще мокрых от росы.

Домой торопились, чтобы успеть к утрене.

В церкви тесно и душно; не помогает даже сквозняк из настежь раскрытых северных и южных дверей, а служба долгая, торжественная. Вот девочка чужого села упала, ее вынесли; вот молодайка, саянка водяновская, «на голосы заиграла». Вывели

молодайку под руки, а кругом зашептались:

– Порченая, должно быть, Кузьмихина ведьма испортила, пропасти на нее нету…

Вчера я уговорилась с подругами между утреней и обедней побежать к березке, что на опушке Мороскина леса, и под березкой, как и в прежние Троицы, покумиться. Я снова выбрала себе кумой Машутку: дала ей поцеловать мой крестик, а она мне свой. Наскоро пообещались мы быть верными подругами, заплели зеленые венки и побежали к обедне.

На Троицу нет в селе двора без гостей. Множество народу из самых дальних сел понаехало гулять к Престолу.

Когда обедня отошла, все повалили на выгон, а на середине его уже раскинули свои палатки приезжие купцы. У большой палатки молодой приказчик, надрываясь, зазывал покупателей:

– Тульских, вяземских, медовых!

Долго я выбирала, что мне купить, – хотелось и вяземских, и тульских, и царской карамели, да и орешков воловских, но денег у меня всего три копейки, дар брата Николая: много не купишь. Подумав, купила я на копейку семечек, на копейку пряников и на копейку карамели. Завязала все в узелок и побежала искать подруг.

Гулянье в разгаре. Водят хороводы водяновские саянки. Они, хотя и нашего прихода, но у них и наряд, и песни другие: водяновские девушки, как одна, в черных сарафанах, очень узких, с красной каймой, только цветные платки на головах, и все в белых чулках и в котах[13] на подковках. Когда плясали водяновские – действительно земля говорила.

Молодухи горят на солнце кичками, панёвами, ослепительно яркими передниками. Стали молодухи в круг, одна запела:

Ой, мать ты моя, Катярина,
На что ж ты меня спородила,
Несчастную на горе.
Счастья-доли не дала:
Молоду замуж отдала.

И все, выбивая на месте подковами такт, приговаривают:

Го со-со, го со-со,
Ну еще, ще, ще…
Счастья-доли не дала,
Молоду замуж отдала.
Свекровушка журлива,
Моя ладушка ревнива —

Го со-со, го со-со,
Ну еще, ще, ще…

Я и про обед забыла: «го со-со» заслушалась.

А тут запестрел громадный хоровод-карагод наших, винниковских. Танок[14] первыми вели – Демьян, Иван Алешин, Якушка, мой брат, а за ними пар двадцать, одна за другой.

Павами выступают девицы, с «молодецким посвистом» да с присядкою щеголье Винникова. Поют:

А у нас на улице, а у нас на улице,
А у нас на мураве, а у нас на зеленой,
Там много хороших, там много пригожих.
Что хороший молодчик, молодец Иванушка,
Он хорошо ходит да манерно ступает,
Сапог не ломает, чулок не марает,
На коня садится, под ним конь бодрится,
Он плеткою машет, а ворон-конь пляшет,
Поехал молодчик, к стежкам-дорожкам,
К стежкам-дорожкам, лугам да болотам,
Где водица лилеет, трава зеленеет,
Сады расцветают, соловки распевают,
Кукушки кукуют: у кукушки нет дружки…

Песню кончили, и к карагоду ступил Сашутка Курановский, самый лучший гармонист на селе.

Его давно ждут, но он любит, чтобы его попросили, да и магарыч поднесли, – тогда разуважит.

Карагод растянулся в большой круг. Якушка засвистал, залился прибаутками:

Аи, где ж это видано, от кого ж это слышано,
Чтобы курочка быка родила, а бычок поросенка?
Поросенок яичко снес,
На высокую полочку взнес,
А полочка свалилася, и яичко разбилося.
Раз, два – чище, э-эх!
Я у Машки замашки покрал,
Голопузому за пазуху напхал.
А слепой все подсматривает,
А глухой все подслушивает,
Безъязыкий «караул» закричал,
Безногий у погон погнал, – ух ты!

Как маков цвет горят девичьи лица.

Не одна из них спрячет сегодня в укладку узелок с гостинцами или нитку монистов, а то и перстенек, купленный милым на память.

По стародавнему обычаю, будут нынче девушки переодеваться раза четыре, а то пять на дню, чтобы показать себя перед приезжими гостями: женихов понаехала тьма…

И до того меня все увлекло, что я забыла про семечки-пряники: узелок так нетронутым и держала. Как бы не захлебнуться сегодня радостными приливами песен.

Метет, летает кругом яркоцветный, ликующий вихрь. Я ношусь от карагода к карагоду, Машутка едва за мной поспевает; она кличет меня – ей пить хочется, есть, а я не слышу: душа моя настежь раскрыта.

Но вот у карагода заметила я огромного рыжего мужика, и он сразу спугнул мою радость.

«Орешка-разбойник с постоялых дворов», – пронеслось в голове.

Молва о нем ходила дурная: будто выходит он на шлях в темные ночи и грабит запоздалых мужиков. Да узнают его по огромному росту – уж как ни прячь морду. Раз недалеко от постоялых дворов, в лесочке Клюковский Верх, нашли убитого купца, и все были уверены, что это дело Орешкиных рук. С той поры в одиночку мужики в город не ездили, а сбирались обозами. Я с испуганным любопытством всмотрелась в лицо разбойника, но сегодня он совсем не страшен – глаза ясно блестят веселым довольством. В суконной серой поддевке и в красной рубахе, опоясанной зеленым широким кушаком, рыжий дядя вовсе не походил на разбойника. А как запел, украсила песня его лицо:

Рассыпался дробен жемчуг, рассыпался,
Подсыпался к красным девкам, к карагоду —
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые,
Приударьте во ладони, приударьте,
Раздразните ревнивых жен, раздразните,
Чтоб ревнивые жены выходили,
За собой молодых мужьев выводили,
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые.

И только смолкла его песня, как парни, красуясь перед

девками, подхватили другую, заведя новый танок-карагод:

Ой, да на речке, на реченьке,
На песочку, на камушку,
А на беленьком самородушку
Селезень косицы вьет,
А утица купается, серая щеголяется.
А во тереме, под окошечком,
Девица красуется, и белится, и румянится,
И на улицу собирается.
И на улицу собирается – ну кому она достанется?
Вот досталась девица она мужу старому,
Все старому – неудалому.
Неудалой головушке, седой длинной бородушке,
Вот седая бородища не пускает на игрища.
Ой, за речкой, за рекой,
Близко реченьки Дуная,
Добрый молодец гуляя,
Добрый молодец гуляя, он все свищет, все гуркая,
Ах, все свищет, все гуркая, черной шляпою махая.
Черной шляпою махая, товарищей закликая:
Братцы мои ребятушки,
Щеголье села Винникова,
Вы сойдите на речку, на Дунай,
Вы побейте палички,
Ой, вы побейте палички,
Положите кладочки.

Тут Машутка решительно дернула меня за рукав.

– Кума, домой пойдем…

Да и правда – пора:

– Ну, пойдем.

И вдруг вижу под ногами бумажку, не такую, какими усыпан нынче весь выгон, а совсем другую – зелёную.

– Гля, – и сердце трепыхнуло, – три рубля. Ну, Машутка, к мамочке бежим, покажем, сколько денег нашли…

И бросились мы бежать что есть духу. Машутка, задыхаясь от быстрого бега, говорила:

– Накупим себе нарядов, и все одинаково: тебе платье, мне платье, тебе полусапожки – мне, тебе полушалку красную, как у Катюшки Цыганковой, и мне. Полупальточки сошьем суконные…

– Сошьем, – отвечаю я. – Столько денег-то.

Когда мы пробегали избу Потап Антоныча, оттуда донеслась его любимая песня:

Через речку, через быструю
Да лежат доски тонки-хлестки…

Ну, значит, Потап Антоныч под хмельком: молодежь, та на улице веселится, а старые дома гуляют.

И у нас гостей полно: съехались тетки, дядья. Мать неутомимо потчует гостей, хлопочет – раскраснелась и необычайно оживлена. Ее непослушная прядь сегодня просто забияка: то и дело выбивается из-под чепца над правой бровью.

Ради праздника, ради дорогих гостей, мать выпила рюмку-другую «церковного», и вот, посмеиваясь, потешаясь, запела скоморошную, гульбишную, а все подхватили, приплясывая:

Вы комарики – комарики мои,
Комарушки-мушки маленькии,
Комарушки-мушки маленькии,
Всю-то ночку во лужочку провели,
А мне, молодой, спокою не дали.
Я уснула на заре,
Да на зорьке, на беленькой,
Да на ручке, на левенькой.
Не слыхала, не видала ничего,
Не слыхала, как мой милый друг пришел,
Шито-брано приподнял,
Здравствуй, милая, хорошая, сказал,
Здравствуй, милая, хорошая моя,
Хорошо ли почивала без меня?
Без тебя, мой друг, постель холодна,
Под перинушку мороз холоду нанес,
Возголовье потонуло во слезах.
Долго, с вечера, стояла я в дверях;
Тебя, сударь, дожидаючи,
Судьбу свою проклинаючи.

– Что же ты, егоза, и обедать не идешь? Прямо от обедни, да на улицу, – перебила себя мать.

Но я с гордостью показала ей три рубля и засыпала ее заказами, какие нам обновы купить. Мать не разделила нашей радости: может, бедный какой обронил. Но где же его искать, обронившего?

– Ну хорошо, куплю, да не так много: по платью, переднику, платочку, а теперь, великие постники, обедать.

Отобедали и снова на улицу. Мать дала нам по десятку яиц

на пряники, но сказала, чтобы я погуляла немного да и вернулась: нужно гусей на речку согнать, а то в закутке они искричались.

Эти мне гуси хрипучие… И зачем такая подлая птица на свет народилась? Другие на улице гуляют, а я гусей на речку гони. Вот и праздник пропал…

Но перечить я не посмела, мамочка этого не любила. Да и Машутка обещала мне помочь гусей гнать: вот уж верная кума.

Как не хотелось с улицы идти, а вернулись домой, выпустили гусей из закутка и погнали под гору.

Под горой, не боясь, что нас кто увидит, стали мы с Машуткой плясать, подражая Татьяне и старшим сестрам. Я запела протяжную:

Дунай-речка, Дунай быстрая
Бережочки сносит.
Размолоденький солдатик
Полковника просит:
Отпусти меня, полковник,
Из полку до дому.
Рад бы я, рад бы отпустити,
Да ты не скоро будешь,
Ты напьешься воды холодной,
Про службу забудешь…

Пела я и прислушивалась к своему голосу. Мне очень хотелось, чтобы походил он на Татьянин.

А с горы на плотину съезжал о ту пору экипаж, в котором сидели соседнего помещика барыня и барышни. Поравнявшись с нами, они замахали платками, и в нашу сторону полетел большой кулек.

Коляска промчалась, а мы с Машуткой стали сбирать как с неба упавшие гостинцы: каких только сластей не было в кульке.

Этот кулек – первый дар за мою песню… Прощай же, счастливый день моего детства, спасибо, что посетил меня, утомленную горестями чужбины. Кто думал тогда, что погаснет моя родина дорогая, что с голоду умрут мои сестры и брат[15], что смолкнет песня привольная…

* * *

Четыре года так быстро пролетели, что не успела оглянуться, а мне уже тринадцать лет. Давно висит в избе на стенке, в рамке

под стеклом, мой похвальный лист об окончании трехлетнего сельского училища.

Много радости доставила эта бумажка моим родителям и нам всем.

Я теперь вспоминаю, что на второй год моего учения был в Курске голод, и мы, младшие, получали продовольствие в школе. Помню, что питали нас сытно: почасту давали кулеш с салом да кашу гречневую. Мы были посчастливее наших родителей: дома у нас этой роскоши, по милости неурожая, не водилось.

Вспоминаю еще одно событие, которое огорчило меня чрезвычайно. В школе сидел со мной рядом и всегда был моим покровителем Миша Козурка, румяный мальчик, неизменный спутник наших забав. Козурка был умняга и добряк. Во время каникул играл он с товарищем на краю деревни, в овраге. Вся деревня добывала в овраге глину для своих хозяйственных надобностей, там образовалась глубокая пещера и туда залезали мальчики играть.

Вдруг случился обвал и похоронил заживо моего друга Козурку.

Другому мальчику удалось спастись. Это было в полдень, когда люди на отдыхе и село замирает. Но вот огласилась улица криками мальчика: «Помогите, помогите!»… Покуда собрались, покуда откопали, Миша был уже мертв. Вся деревня стояла в слезах, когда посиневшего несли его на попоне домой. Его мачеха, молодая красавица, любившая больше Козурку, чем своих детей, все падала, изнемогая от тяжкого и нежданного горя.

А хоронили Мишу торжественно: мы, его школьные друзья, несли Мишин гроб на полотенцах, до погоста. Деревня решила, что в гибели Козурки замешана нечистая сила. Давыдовна, жившая в крайней избе, у оврага, рассказывала, что за час, как ребяткам прийти, видела она – выскочил из оврага полдневной бес с рожками, с хвостиком и нетерпеливо забегал по овражному краю, а сам ну бормотать:

– Есть час, да никого нет, есть час, да никого нет…

Вот и случилась беда, что не видела Давыдовна, как мальчики пришли, а то бы их упредила.

Я тогда этому верила и боялась отлучаться в полдень из дому, особенно в лес: а вдруг выскочит бес полуденный.

Помню, что все то лето я часто ходила на «поденку», зарабатывать деньги на наряды. Работала наравне со всеми.

Мое желание попасть в хор и петь на клиросе не исполнилось: в хоре пели только мальчики.

А мысль уйти в монастырь не покидала меня, хотя и не мешала мне быть первой среди подраставших игрух и плясух.

Даже мать, сама любившая попеть-поплясать, иногда говаривала:

– Да уймись ты, угомону на тебя нет. Вас с Якушкой женить, вот бы пара была.

* * *

Семнадцатое сентября, день моего рождения и ангела. Мать, по обычаю, испекла пирог с кашей, меня тянули за уши – чтобы больше росла, а именинный пирог сломили на моей голове. Приходили меня поздравлять тетки, дядья и шутили, что вот я и невеста.

Мать хвалилась, что на полатях, где лежат подушки и попоны – приданое старшим сестрам, – приготовлено и мое приданое: десять попон, покрывало, – все сделано из своей волны:

– Шесть подушек Дёжке отложила, она ведь гусей-то стерегла больше всех.

Этот день именин я потому помню, что тогда похварывал отец: залез на печку и жаловался, что, мол, удушье одолело. Мать в таких случаях всегда была лекарем. У нее на чердаке сушились разные травы, которых она собирала в мае множество. Травами она выхаживала нас всех ото всяких болезней. Она и теперь поставила отцу припарки и напоила его зверобоем.

Вскоре отец оправился и стал выходить. Я его помню в те дни: в тулупе, высокий, худой, тщательно подпоясанный, ходил отец и осматривал конопли. Была уже выбрана конопля и поставлена в козлы для сушки на огороде. Он пробовал коноплю на ладонь – не пора ли молотить.

Через три дня он поехал на мельницу, верст за восемь от нас. Выехал отец здоров, только покашливал.

Минул день – отца нет; обеспокоенные, мы порешили, что на мельнице завоз и что очередь до него не дошла.

Но вот к вечеру показалась повозка: отец возвращается. Все заметили, что он бледен, голова опущена и еле держит вожжи в руках. Лошадь, будто чуя, что хозяин болен, тоже шла еле-еле, понуря голову. Отец сказал, что ему нет мочи, и не стал отпрягать коня, а отдал брату Николаю.

Мать уложила больного: отец горел. На расспросы, что с ним, отец ответил, что все было хорошо, был он здоров, на мельнице случился большой завоз, и ему пришлось у мельника стать на ночлег, а ночью пить захотелось, он и пошел к ручью, да не перекрестясь, наклонкой и напился.

– Вот видишь, мать, наказал Господь. Человек, как скотина, наклонкой и без креста пить не должен.

Но нам было понятно, что отец застудил холодной водой и без того не очень здоровые легкие и что у него горячка.

На третьи сутки, в ночь, у нас поднялась суматоха. Меня разбудил плач сестер. Со сна я не могла понять, что происходит, и вот очнулась и увидела сестер, брата и мать, стоящую над отцом, со свечою в руке.

Отец, слабея, благословлял всех. Меня он благословил последней. Глаза его были мутны, он еле шевелил запеклыми от жара губами. Немного тяжелых вздохов, которых я никогда не забуду, – и отца не стало…

Горе наше, горе… Мать убивалась. Помню, как причитывала она, обнимая гроб, обливая его слезами.

Я от потрясения занемогла, а когда встала с постели, точно выросла лет на пять. Улетела веселость моя. Я притихла.

Отца похоронили, минуло мало дней, как стала я просить мать отвезти меня в монастырь. Мать не возражала. И я помню ее слова: «Видно, уж Господь Бог направил Дёжку на путь праведный, истинный».

* * *

Отвезла меня мать в Девичий монастырь и отдала под заботливую руку тех старушек-монахинь, у которых мы ночевали четыре года назад.

Старшая, матушка Милетина, уже сорок лет была монастыркой, а мать Конкордия – свыше двадцати. Тяжелым трудом они сколотили себе крошечные сбережения и выстроили келью в четыре покоя: монахини живут здесь на свои средства, это не общежительный монастырь, все работают сами для себя, и каждая по своим способностям имеет достатки: только уж очень престарелые живут на счет монастырский. Мне средства к жизни доставляли из дому.

Чтобы постричься в монахини, нужно прожить в монастыре не меньше трех лет, неся послушание, а потом сделать вклад в триста рублей. Тогда одевали в черную одежду и свершали постриг в монашеский чин. Но многие девушки несли послушание и ходили в цветных платьях по четыре и пяти лет, не имея для вклада трехсот рублей. У моих старушек была келейница Поля. Она уже шесть лет в монастыре, а все ходит в цветном: вклада не вносит. А как ей внести, когда она, бедная, к рукоделию не способна, заработать не в силах, а сама сирота. Жила она у старушек, работала черную работу и так при них и кормилась. Часто видела я у Поли заплаканные глаза: желалось

ей черного платья да пострига, обительских уз навеки.

Троицкий монастырь, куда меня привезли, в городе Курске, на Сергиевской улице. Тут же базар, трактиры, торговая суета. В базарное время и за высокие стены долетает уличный гул и гам.

А в стенах обители разлита благостная тишина. Проходят, как черные тени, монахини. Неугасимая лампада мерцает в правом крыле нижнего храма, в часовне. Там, у аналоя, день и ночь дежурная монахиня читает псалтырь, там неустанна молитва к Престолу Господню об упокоении усопших.

Тоскуя по отцу, я часто забегала в часовню ставить заупокойные свечи.

– Иде же праведние упокояются, – молилась я.

Ведь молиться за упокой его душеньки и отпросилась я в монастырь…

На рассвете, часов в шесть утра, как только пройдет колотушка, я быстро вставала, умывалась, зажигала лампады и убирала до пылинки большую келью, куда вскоре выходила и матушка Милетина. Она благословляла меня и спешила во храм. Конкордия уходила за нею. Она была «поводырка» и по седмицам служила при матушке игуменье.

Звеняще и глухо ударял колокол, и с первым благовестом я тоже спешила на молитву.

Наше место молодых послушниц было при входе во храм, с левой стороны. Подле, за решеткой, тоже слева, виднелось множество остроконечных черных повязок молодых монахинь. А с правой стороны было место монахинь скуфейных, и тут же, впереди, стояло кресло матушки игуменьи. Когда мы выходили попарно прикладываться ко кресту, то повертывались к матушке игуменье лицом и кланялись ей низко, касаясь рукою земли.

Все монастырские уставы нравились мне. Казалось, что в обители свято все и что грешному места тут нет. Так минул год и другой. Мои покровительницы-старушки уже поговаривали одеть меня в черные одежды, чтобы я могла петь на клиросе.

Мне тогда шел шестнадцатый… И зачем я выросла, лучше бы так и остаться мне маленькой Дёжкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы, копошится темный грех, укутанный, спрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полуденный…

А может, оттого больно глазаста я стала и душа забунтовала, что судьба звала меня в даль иную…

* * *

Помню, подходила Пасха. Меня посылали в город продавать

писанки и вербочки с яркими цветиками. Помню еще, что мои наставницы словно приметили мое тогдашнее смятение.

– Что ты, Паучок, попритих?

Но я молчала. Огорчило бы моих милых старушек, нарушило бы их святой покой, узнай они, что Паучок задумал выбираться из монастыря.

В те годы на Пасхальную неделю постоянно приезжала в Курск бродячая труппа – большой цирк. Огромный балаган раскидывали на Георгиевской площади. А к балагану жались разные чудеса: паноптикум, панорама, показывающая войну, кораблекрушения и прочие происшествия. Тут же зверинец, тут же перекидные, круглые качели.

Посмотреть-погулять стекались сюда не только куряне, но и соседние слобожане – из Ямской, из Стрелицкой.

На Пасхальной, помню, неделе отпустили меня из монастыря в гости к сестре Дуняше, которая служила тогда в красильне. Я еще ни разу не была на Георгиевской площади и упросила сестру пойти на гулянье.

Сестра катала меня на каруселе, водила в зверинец. Звонок зазывал публику в цирк. На подмостках бегал клоун с колокольчиком и хриплым голосом уговаривал публику скорей брать билеты, а то не успеют. Из балагана вышла девочка лет двенадцати, в красном костюме. Она была на удивление как хороша. Вышли еще на подмостки боярин и боярыня в ярких блестящих нарядах.

Мы решили пойти в балаган – гулять так гулять. «Потом стыдно матушке в глаза смотреть будет», – подумала я, но что-то влекло меня в балаган.

Купили билеты, сели на скамьи. Сначала вышел хор бояр, пели да танцевали. За ним выскочила та девочка в красном платьице. Она быстро бегала по проволоке, вертелась.

«Так кувыркаться и я бы, пожалуй, могла, учеба только нужна», – думала я, не отрывая взгляда от акробатки.

Смешил еще клоун, потом вышел хохол со скляницей горилки в руке, запел: «Кумочки-голубочки, здоровеньки булы». Публика покатывалась со смеху. И правда, был он потешный. А тут вылетела на сером коне наездница, ловкая, быстрая.

«Хоть и грешно такой голой при народе на коне прыгать, – думала я, – а так я тоже могла бы. Уж если всюду грех – и в миру, и в обители, – уж лучше на миру жить».

И порешила я разом: «Уйду в балаган и стану акробаткой». Когда мы вышли на площадь, я тотчас же сказала сестре, что хочу стать акробаткой. Дуняша приказала, чтобы я не молола вздор.

Ночевала я у сестры. Всю ночь виделись мне красная девочка

и наездница на сером коне. Я представляла себя на их месте и всю ночь горела от мысли пойти завтра к директору балагана и проситься в его театр.

* * *

Наутро я так и сделала.

Когда пришла я туда, балаганный директор дрессировал лошадей. Сердце стучало, едва сумела я пролепетать мою просьбу. А директор, к моему удивлению, сразу же согласился принять меня, хотя бы сейчас. Он даже не спросил о родителях, откуда я взялась вообще. За руку он подвел меня к вчерашней красной девочке, которая оказалась его дочерью. Тут же был и клоун, и его жена-наездница. Сегодня она не выглядела так красиво, как вчера верхом на коне. А девочку звали Леля. Она повела меня на квартиру, в номера, которые были против балагана.

В номерах, как видно, жили артисты. Бегали неопрятные детишки директора и клоуна. Пахло керосином и колбасой с чесноком. Леля указала мне комнату; сказав, что тут живет она со старшей сестрой, и если я приду в балаган, то тоже буду жить с ними.

Моей сестры не было дома, когда связала я в узелок мои вещи и ушла, никем не замеченная, на площадь. В номерах я застала Лелю, она готовилась идти в цирк на представление. Жена директора, тощая и хмурая женщина, угощая меня чаем, осведомлялась, откуда я родом да сколько мне лет, а под конец сказала, что завтра утром всю труппу будет снимать фотограф и что для меня приготовлен голубой костюм, только я должна его осмотреть и приладить.

Странная тоска сжала мне сердце, когда в этой чужой комнате примеряла я голубой, весь в блестках, наряд. Еще вчера и не думала, что уйду от сестры, не сказав никому, куда иду и зачем. И что подумают мои старушки-монахини? А мамочка? И думать не хочу, так мне страшно…

Огни, яркие уборы, музыка, гул толпы, я рассеялась в цирке, но спалось мне у Лели плохо. А утром после чая велели мне одеваться и идти в театр, где ждал нас фотограф. Среди цирковой труппы я стояла в боярском костюме. Дорого бы я дала, чтобы взглянуть теперь на этот портрет.

Боярское голубое платье приладила на себя хорошо, но директор приказал мне переодеться в короткую юбочку для занятий. Леля уже упражнялась на проволоке, а для меня

положили на пол толстый канат и дали в руки длинную палку, надо полагать для баланса. А когда я научусь на полу ходить по канату, его натянут немного повыше и так я привыкну разгуливать по канату, а там и на проволоке. Признаться, и это мне нравилось не меньше боярских костюмов.

И помню, было это на другой же день. После репетиций села я отдохнуть на скамейку для зрителей, а ко мне подошел клоун. От него пахло вином. Подсел он ко мне и стал говорить любезности, вовсе не подходящие для женатого человека. От выпившего клоуна я убежала в комнату Лели. Прижалась в угол, у окна, от страха дрожу.

Вдруг слышу – спрашивают внизу Надежду Винникову. Кто бы мог быть, никто не знает, где я. А дверь уже растворилась, и на пороге стоит моя мать, растерянная, заплаканная.

– Так вот ты где!

Не испугай меня клоун, я бы так не обрадовалась, а теперь ей не пришлось долго уговаривать меня идти домой. Она упрекала директора, что тот берет девчонок без спроса родителей, а я собирала молчком свой узелок. Послушно вышла за матерью из цирка. Она плакала:

– И за что наказал меня Господь? Терпеть такой срам. Лучше бы прибрал тебя Бог. Ишь, что вздумала: из святой обители да в арфянки[16]. Что тебе, лукавый, что ли, советовал?..

Мне стало стыдно, что мать на улице плачет, шумит, – я тихонько отстала от нее, нырнула в ворота. А она думала, Дёжка за нею идет, и размахивала руками, и все упрекала. Я выглянула. Мать шла сгорбившись, убитая, жалкая, голова дрожит. И заглотала я горькие слезы. «Да что же я делаю с мамочкой, милой моей, ненаглядной?» Побежала, обняла ее и в слезах обещала ехать в деревню, домой, куда хочет, только в монастырь не вернусь.

– Но, мамочка, будь спокойна, я Бога не потеряла. Бог крепок в моей душе.

Мы утихли. Мать, утерев слезы, стала рассказывать, как меня отыскали. Дуня, хватившись, пошла в монастырь, а там меня нет. Заволновалась Дуня и ехавшему в село Винниково Афанасию наказала, чтобы мать обязательно завтра же была в городе. Мать – в Курск, и, узнавши тут, что Дёжка пропала, заголосила. Да сестре кто-то сказал, что видели Дёжку у балаганов.

Мать – туда, расспрашивая всех о девочке Надежде. Тот выпивший клоун ей и указал, что, кажется, такая тут есть… Забилась я у сестры в угол и плакала от стыда. Теперь мать меня успокаивала:

– Не плачь, Дёжка, вот поживем в деревне до июля, а там

тетка Аксинья едет в Киев на богомолье, я тебя с ней отправлю, поклонишься святым угодникам, в пещерах побываешь[17], а заодно и у сестры Настеньки. Она уже три месяца в Киеве, ее мужа туда в солдаты угнали.

Лукава ты, жизнь, бес полуденный… Тут же в горячей моей голове пронеслось: «Вот хорошо – в Киев. Там, верно, тоже есть балаганы – уйду в балаган».

* * *

В те годы в Курске, рядом с монастырем, на Сергиевской улице, стоял большой особняк миллионера, купца Гладкова.

У Гладкова жила в экономках Ксения Ивановна, старая дева, скромная, тихая. Я часто видала ее в монастыре. Она была хороша с моей матерью. При встрече с Ксенией Ивановной мать со слезами рассказала ей про мои проделки и жаловалась, что я отбилась от рук и такая стала «настырная, что даже – прости, Господи, Дёжкины прогрешения – в ахтерки сбежала». Ксения Ивановна решила горю помочь и сказала, чтобы меня привели к ней. Я перечить не стала, чтобы еще больше не огорчать мать, хотя хотелось мне домой, в деревню, а не в услужение.

В доме миллионера челяди много, три горничные, лакей, повара, кучера, прачки. Меня приставили к хозяйской дочери Наденьке, барышне моих лет.

Была также при барышне бедная родственница Варинька, нам ровесница, большая гордячка. У Вариньки важности было больше, чем у самой барышни.

А Наденька, тезка моя, черноглазая, на вид цветущая девушка, но в доме все дрожали над ней, считая почему-то за хворую. В отличие от барышни меня в доме звали Надеждой.

Дом важный, богатый, но я скоро привыкла. Пожилая хозяйка, полная купчиха, была со мной ласкова, и только старшая дочь Маня, хромая, вела себя надменно и сухо. Слуги ее не любили.

Наденька, та, бывало, прикажет подать экипаж и едет по беднякам пособия раздавать, а Мария – никогда.

Сам хозяин дома, Николай Васильевич Гладков, высокий и грузный купчина, человек был неплохой, но имел привычку досадную: как ни пройдет мимо, обязательно ущипнет. Я первый раз вблизи видела такого важного барина и думала: «Барин, а щиплется, неужели все они таковы?»

А в людской, куда я ходила обедать, каких, бывало, россказней не наслышишься. Узнала я в людской, что, как помер

старый Гладков, дед Николая Васильевича, вырыли покойника из могилы и ночью приставили его пышный гроб к воротам, а вырыли его будто за то, что, ворочая миллионами, был он жаден и не помогал никому. Об этом запрещалось говорить в доме. Услышала я такую историю и в сумерки стала бояться смотреть на ворота, где стоял подброшенный дед-миллионщик…

* * *

Летом Гладковы выехали на дачу, в имение, и там, купаясь в реке, я простудилась: у меня заболело горло. В доме испугались дифтерита и отправили меня в Курск, в больницу, где я через неделю поправилась, но к Гладковым уже не вернулась, а покатила в деревню. Моему приезду мать была рада-радехонька. Дунечка служила в городе, Настенька вышла замуж и жила в Киеве, брат Николай все дни в поле, только Маша дома.

– А тут Бог дал, ты приехала – поживи, порадуйся свету Божьему, – говорила мне мать при встрече.

Мои винниковские подруги уже невестились, держали себя как взрослые и ходили в карагодах при старших.

Помню, как-то вечерком, когда я сидела с матерью под березой у нашей избы, подошел к нам высокий человек. Присмотревшись, я узнала в нем Сергея Егорыча. Был он из разорившихся помещиков, опустился и стал чем-то средним, «не барин, не мужик». На деревне он славился своей брехней, так его и звали: Плетень.

– Ну, пошел плетни плесть!

Сергей Егорыч был человек молодой, тихий и вежливый; играл хорошо на гармонии, и никогда никто не видал его пьяным. Он ступил к нам, мать чего-то смутилась, а Плетень пошел плесть, Бог его ведает, небылицы какие, и Надеждой Васильевной меня называл, и просил погулять с ним на выгоне.

«Вот тебе здравствуйте, с чего вдруг я стала Надеждой Васильевной, – посмеивалась я про себя. – И почему мать так смутилась?»

Сергей Егорыч вскоре ушел, и тогда оказалось, что это он приходил свататься и что мать, напуганная моими проделками, была готова отдать меня за Плетня замуж. Мать засмущалась, заговорила, что Ягорыч человек неплохой и женишок – чести приписать. Я пожелала, чтобы сама Акулина Фроловна пошла за Плетня замуж, а я не пойду: наотрез отказала.

Средь милых подруг, средь светлого простора быстро бежали дни. Ах, эти песни по заре, переливы гармонии, доносящиеся из

леса, молодое приволье, молодой простор…

Вскоре женился брат Николай – подходила жнитва, и в доме была нужна работница. А в конце июля тетка Аксинья сказала матери, что едет в Киев и меня, как обещала, возьмет. Мать уже было раздумала отпускать, но я упросила.

В голове неотступно стояло – «балаган». Других-то театров я и не знала. Накануне отъезда мать всю ночь сидела у моей постели и тихо плакала, сказывая мне напутствие:

– Ты молода, Дёжка, несмышлена. Пуще всего на свете бойся ребят. Они, изверги, лукавые и обмануть девушку, обвести – это у них, разбойников, за милую душу. А как посмеется над девушкой, так и бросит, – она тут и гибнет. Бойся, не попадайся им в лапы, а то и глазки твои потускнеют, и голосок пропадет…

Я слушала молча, не расспрашивая, почему все ребята такие страшные; прижавшись к матери, я заснула и какие еще страсти сулила она мне от ребят, уже не слыхала.

Со станции Винниково, что теперь Орешно, впервые я пустилась в долгое путешествие. Поезд тронулся, мать заплакала. Я бодрилась, но недолго. Замелькали знакомые избы, показался над высокими тополями зеленый купол колокольни, сверкнул золотой крест, проплыли вытрешки на выгоне и отошло в светлую даль родное село.

* * *

Мы с теткой Аксиньей расположились в вагоне третьего класса, закусили.

Тетка уснула, а ко мне подсели какие-то щеголи в суконных парах, всячески предо мною рассыпаясь. Тут я вспомнила слова матери и, решив, что это и есть те ребята, которым бойся в лапы попасться, разбудила на всякий случай тетку: пусть сама с ними беседует. Может, эти ребята и были хорошими людьми, да мне не хотелось, чтобы «глазки мои потускнели и голос пропал…».

Киев, Киев, город огромный. Как мы вышли с вокзала, тетка меня все время смешила: идем по городу, она видит у шляпного магазина вывеску в виде огромного цилиндра, тут же станет как вкопанная и удивленно разводит руками.

– Неужели такие головы есть?

Дивилась тоже тетка большущей галоше у обувного магазина на Прорезной улице и заявила мне, что если продают такие шляпы и галоши, значит, в Киеве живут великаны.

Моя сестра Настенька была нам рада. У сестры росла уже дочка Нюся.

Целыми днями мы с теткой ходили осматривать Киев, бывали в Лавре, молились святым угодникам и поздно возвращались домой. Недели через две тетка Аксинья отбыла, а я осталась у Настеньки.

Через дом от квартиры сестры помещалась большая прачечная, а хозяйкой там была полная седая женщина. При ней жила племянница Надя, моя однолетка. Глаза у Нади были как у японки. Вскоре мы познакомились, и я стала с нею дружна. Надя, щуря японские глаза, не раз хвасталась, что у нее есть знакомые студенты и артисты из сада «Аркадия» и что, если я захочу, мы можем вечером пойти в сад, а билеты нам достанет артист Волощенко.

Пойти в сад, где музыка, – вот чудеса, я просто стала преклоняться пред Надей. Еще бы, такие знакомства: студенты, артисты.

Наконец день желанный настал, и в обществе студентов мы отправились в сад «Аркадия». Разноцветные гирлянды фонариков украшали вход и аллею сада, гремел военный оркестр, сновала нарядная толпа, и, кажется, одна только я была в косынке, а все в шляпках. Это меня немного смущало.

На открытой сцене, когда взвился занавес, я увидела тридцать дам в черных строгих платьях с белыми воротниками. Дамы стояли полукругом, все они показались мне красавицами – какие прически, какой цвет лица! И вдруг раздался лихой марш:

Шлет вам привет
Красоток наш букет.
Собрались мы сюда
Пропеть вам, господа.
Но не осудите.
Просим снисходить,
А впрочем, может быть,
Сумеем угодить.
Беззаботное веселье, господа,
Вот в чем заключается жизнь наша вся.
Где играют, пьют,
Пляшут и поют,
Нас всегда найдешь ты,
Тут как тут.
Нам грусть-тоска – все нипочем,
Мы веселимся и поем,
Упрек людской – лишь звук пустой,
Довольны мы своей судьбой.

Волощенко, встретивший нас еще у входа с билетами, теперь спросил, нравится ли нам хор. Он сказал, что если мы захотим, то можем в хор поступить.

«Еще бы не нравится, еще бы не хотеть, да это лучше балагана», – думала я.

Тут же в саду мы и решили не откладывать в долгий ящик: Волощенко завтра придет за нами и поведет к хозяйке хора знакомиться.

* * *

Хозяйка хора, Александра Владимировна Липкина, высокая, с гордой осанкой, гладко причесанная, без всяких румян и белил, мне очень понравилась. В квартире ее было уютно, по-семейному: встретила нас чистая старушка в белом чепце – мать Александры Владимировны, бегала маленькая девочка, ее племянница, у образа горела лампада. Александра Владимировна понравилась нам, мы понравились ей. Мы условились завтра прийти за авансом, заказать себе форму – черное и белое платье, а также попробовать голоса.

Мы с Надей были в восторге и без долгих слов решили тихонько удрать – я от сестры, Надя от тетки.

Александре Владимировне мы, конечно, не сказали, что от родных уходим тайком: боялись, что не возьмет.

На другой день в зимнем зале «Аркадии» происходила моя первая репетиция, за пианино сидел Лев Борисович Липкин, а вокруг него стоял хор. Помнится, разучивали «Марш-пророк»[18].

Когда мы вошли, Лев Борисович сказал:

– А ну, две Надежды, покажите, какие у вас голоса.

Мне было стыдно: все разглядывали нас. Липкин дал аккорд, я взяла дрожащим голосом ноту.

– Смелей, смелей!

Я взяла смело.

– Ого, хорошо.

В уголке сидела дама в черном платье. Липкин позвал ее:

– А ну, Люба, спой свое соло, пусть Надя послушает, она может петь с тобой контральтовую партию в «Пророке».

Люба откашлялась.

– Ангел Хранитель, укажи мне спасение, – вдруг рванула она. – Мой покровитель, дай утешение. Сердце уныло в горьком томлении, кровь вся застыла от упоения…

Она фальшивила, но у нее был не голос, а голосище, я даже оторопела. А Липкин рассердился:

– Фальшь, фальшь. Ну, дуб ты этакий, повтори еще, а ты, Надежда, слушай, запоминай.

Люба пропела снова. Мне дали написанные слова, а мотив я легко запомнила и, к большому удовольствию Льва Борисовича, пропела соло без ошибки.

– Вот и прекрасно, – радовался он, – теперь Люба не собьется.

А у Нади с глазами японки голоса не оказалось. На сцене репетировали какие-то танцы, и нас послали туда, к руководительнице. Ее также звали Надежда, по фамилии Астродамцева. Скромно одетая, бледная женщина встретила нас словами:

– Ну, тезки, покажите ваши таланты. Вот – ты, станцуй гопака, – обратилась она к Наде.

Та протанцевала, ее одобрили. Настала моя очередь.

– Сделай так, – сказала Астродамцева и показала мне «па».

Я пробовала, но вышло что-то плохо: смутил меня «гопак». У нас в деревне эта фигура называется «через ножку», и девушки у нас никогда так не прыгают, они танцуют плавно, а прыгают через ножку только парни. Но меня заставляли пробовать именно «через ножку», которая тут называлась «па-де-бас».

Астродамцева покрикивала, чтобы я не держала рук перед носом, а отбрасывала их широко по сторонам. «Ну хорошо, – подумала я, – отбрасывать так отбрасывать» – и так размахнулась вправо, влево, что кругом засмеялись, а Астродамцева отскочила:

– Ну, ты, деревня, чуть мне зубы не вышибла… Но толк из тебя, вижу, выйдет.

В хор я была принята. Нам положили восемнадцать рублей жалованья в месяц на всем готовом.

А что делалось после нашего бегства дома, мы не знали, да и не думали: нас захватила новизна.

В хоре все певцы были женатыми, и делился хор на семейных, на учениц и хористок и на дам, располагавших собой, как им заблагорассудится. Семейные выносили всю тяжесть программы. Это были потомственные и почетные труженики эстрады, они выступали по несколько раз в вечер, так как наш директор Липкин должен был давать в «Аркадии» программу в 12–15 номеров. Учениц в хоре было шесть, все подростки, в их числе и я. Нас обучали для капеллы и держали в ежовых рукавицах: девчонок никуда не пускали самостоятельно по городу. После программы кормили нас ужином и гнали спать, хотя, правда, программа кончалась в два часа ночи, но по-ресторанному это рано.

В первый раз надела я черное платье и в модной прическе вышла с хором на сцену, когда пела с Любой «соло-пророк».

Волнение мое было велико. Я стояла справа, первой, и боялась, как бы мне от волнения не свалиться в оркестр. В голове шум, звон – уж какое тут соло, даже не помню, когда мне вступать: вся надежда на Любу. Тут меня ободрил выразительный взгляд Льва Борисовича, я поняла, что вступать скоро. Тут же случилось чудо: Люба вступила вовремя, я за ней. Лев Борисович улыбался из-за пианино; ну, значит, ничего. Действительно, мой дебют сошел, слава богу, хорошо…

* * *

Вскоре после дебюта я узнала от Александры Владимировны неприятную новость: труппа едет на две недели в Курск, а оттуда в Царицын на Волгу.

Ошеломленная известием, я призналась Липкиной, что из дому удрала и что в Курск ехать боюсь, а расстаться с труппой, к которой уже попривыкла, мне жаль. Что тут делать? С милой подругой Надей у нас был совет, на котором мы порешили, что мне в Курск ехать, но на улице не показываться до самого отъезда в Царицын.

Знаю, я поступила с родными жестоко, не написала им о себе. Сама в душе я страдала, но боялась написать, чтобы меня не искали. С какой тревогой я садилась в поезд, который увозил наш хор в Курск! Помню, среди ночи, в вагоне, я проснулась. Поезд стоял. Издали наплывал бархатный звон, и я сразу узнала родные колокола: мы приехали в Курск в три часа, на рассвете, когда там к ранней [службе] гудят колокола. Побежать бы по полям, через лесок, мимо деревенского храма, прямо в нашу избу, где еще отдыхает от трудов своих мать, обнять бы родную, шепнуть: «Мама, я здесь», заглянуть в знакомые уголки и помолиться у креста, на отцовой могиле…

Рано утром мы проезжали через город в «Европейскую» гостиницу, и по дороге я вспомнила, что моя сестра Дуня обзывала эту гостиницу «непристойным местом». Как-то раз, когда я была еще в монастыре, шли мы с Дуней по главной улице и встретили двух дам, очень ярко и нарядно одетых. На мой вопрос, кто они, сестра с презрением ответила, что это арфянки из «Европейской» гостиницы, и даже плюнула.

Понятно, как велико было мое опасение, чтобы кто не увидел, как я буду входить в «непристойное место». Но переезд прошел благополучно. Разместили нас, учениц, в большой комнате, а рядом устроились семейства артистов и сами хозяева хора. Более шумный народ поселился от нас далеко, в другом конце

коридора.

Я кроме репетиций – никуда, а над голосом работала усердно. Уже мне пророчили, что из меня выйдет хорошая капеллистка. Но ненадолго хватило терпения отбывать добровольный арест и сидеть безвыходно дома. Как преступника тянет к месту преступления, так и меня тянуло погулять по Московской улице да заглянуть в монастырский двор, откуда когда-то удрал Паучок.

По мудрым советам подружки Нади я надела для этой прогулки шляпку с большими полями и густую вуаль, одолжив и то и другое у наших певиц. Когда я так нарядилась и посмотрела в зеркало, то собой осталась довольна: узнать меня трудно, я сама не узнала в зеркале Дёжку. Шляпу я надела впервые, и она особенно меняла мое лицо.

Так мы вышли с Надей из гостиницы и поднялись на гору, к Московской улице. Никто из знакомых не встретился нам по пути. Пауки на вуальке мешали мне смотреть, и я, не привыкшая к такому жестокому украшению, откинула вуаль с лица. С волнением миновали мы дом, где живет сестра. Все благополучно. Но когда повернули обратно, вдруг вижу, из ворот выбежала сестра Дуня в большом платке. По-видимому, куда-то спешила. Мы повстречались.

Мельком взглянув на меня, близко, слегка задев локтем, прошла она. И вот, словно что-то вспомнив, повернула, забежала вперед, заглянула мне под шляпку и побледнела.

– А-а, барышня, пожалуйте-ка домой.

Схватила меня за руку, повела за собой. Я растерялась, сестра Дунечка дрожала, она думала, что ведет за собой погибшее создание в шляпке. Я понимала, как мне будет трудно убедить сестру, что вовсе не такая я скверная и что хотя «Европейская» гостиница – место не очень пристойное, но и там есть уголок чистоты. Дуня привела меня в кухню, сорвала с меня шляпку, бросила об пол, строго крикнула:

– Сиди!

И быстро ушла в мастерскую, к хозяину. Я сообразила, что она хочет взять отпуск, чтобы немедленно отправиться со мною в деревню, и решила действовать. Подняла с полу эту несчастную певичкину шляпку и бросилась из кухни на двор. Выбежала на улицу, крикнула извозчика, сунула ему рубль:

– Гони что есть духу в «Европейскую».

Извозчик, верно, не удивился, что ему так щедро заплатили, раз «барышня» из «Европейской».

Он домчал меня скоро, погони не было, и я успокоилась, но швейцару наказала:

– Если будут спрашивать Винникову, скажи, что такой нет.

Швейцар мне подмигнул:

– Понимаю.

Я больше на улицу ни ногой. Через неделю уедем в Царицын – и делу конец.

А с Надей, подругой, я крепко поссорилась: зачем убежала, когда сестра потянула меня за собой.

* * *

Накануне отъезда в Царицын, после репетиции, спускалась я, помню, вниз по лестнице к себе в комнату, беспечно напевая только что разученную песню.

Но вдруг оборвался голос, я сама от неожиданности поскользнулась и чуть не покатилась со ступенек: в дверях гостиницы стояла сестра Дунечка и молча смотрела на меня.

Бежать было некуда. Растерянно я стала приглашать ее зайти.

– Я, в этот, в этот… Ополоумела ты, непутная, – сказала Дуня дрожащим голосом. – Ты сама выйди, мать плачет, сейчас же иди сюда.

Видно было, что разговаривать с ней невозможно. Казалось, она даже была готова меня побить.

Я вышла на улицу и увидела мать; она стояла сгорбившись, такая жалкая. По исхудавшему лицу текли слезы. Плакала и Дуня.

– Мамочка, ну пойдем ко мне. Я покажу тебе, где живу, – просила я мать, но она не слушала, упрекала:

– И в кого ты уродилась? Родила тебя на свое великое горе. Глаза б мои не глядели, в какое место пошла. И как тебя земля носит.

Корила меня, а слезы лились по морщинистому лицу.

– Пойдем, посмотри, мама, пойдем, – молила я.

Мать жалобно посмотрела на сестру, та молчала.

– Ну пойдем, – вздохнула мать. – А ты, Дуняша?

– Я не пойду…

Привела я мать в комнату Александры Владимировны. Там у образов горела лампада. Бабушка в белом чепце сидела в кресле тихо, играя с внучкой. Мать этого никак не ждала. Она помолилась на образа, огляделась:

– О, да тут и старушка, божий дар, и лампадочка, знать, не совсем Бога забыли.

Мать любовно посмотрела на меня. Вошла Александра Владимировна и совсем мать мою покорила:

– Акулина Фроловна, ваша Дёжка с талантом. Мы ее вымуштруем, и она будет хорошей артисткой.

– Да что с ней поделаешь? Все равно убежит. Вишь, какая она востроглазая. Вот пойду с батюшкой да с наставницами посоветуюсь. Уж очень большой грех быть ахтеркой, но, видно, с Богом-то и везде можно жить. А ты, Дёжка, что скажешь, можно тут жить и душу не загубить?

Я сказала, что прошу оставить меня здесь, а сохранить себя можно везде, это зависит от самого человека.

– Так-то оно так, только если б отец твой был жив, он бы с тебя кожу спустил за этакие выдумки.

Сидела мать у нас долго и совсем успокоилась.

– Ну, вот что, Александра Владимировна, бери ты ее, – сказала она под конец, – да бей ты ее, если слушаться не будет. Вот перед Богом отдаю тебе Дёжку.

И заплакала и благословила меня.

– Слава Богу, что хоть нашлась, а то ночи не спала, все думала о тебе, непутевая ты моя Дёжка.

Слава Богу – гора с плеч. Мать дозволила мне ехать в Царицын, и в день отъезда она и Дунечка провожали меня на вокзал. Мать там сказала, что советовалась с матушкой Милетиной, а та ей ответила – всякому свое на роду написано. Мать меня пожурила:

– Горевала больно матушка Милетина, что ты к ней не зашла.

Я передала Милетине мой послушный поклон и прощальный привет.

Поезд тронулся в путь далекий, в новый путь, «во святой час со молитовкой», как Потап Антоныч говаривал.

А в Царицыне я впервые увидела нашу милую Александру Владимировну на сцене.

Я и не знала раньше, что она так задушевно и просто пела народные песни. Немудрено, что публика ее встречала любовно. Она и не знала, с какой жадностью, с каким горячим восторгом я слушала ее пение…

Бывало, сидит моя мать за прялкой и поет тихо, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила в печаль песни, а я, бывало, выбегу на полянку в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами – душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики-травы, светлый простор, да птицы щебечут, точно наперегонки славя Того Даятеля Радостей, Кто наполнил всю вселенную такою красой…

Слушая Александру Владимировну, я думала, что хорошо

радоваться и горевать с песней наедине, но еще лучше стоять вот так, перед толпой, и рассказывать людям про горькую долю-долюшку горемычную, про то, как «гулюшка-голубок, сизы перья горкунок» подслушал тоску девицы, что отдают за постылого. А то завести людей во зеленый сад, где «поют-рыдают соловушки», а то позвать в хороводы, в карагоды веселые. «Вот если бы я могла стоять на месте Александры Владимировны». Я слушала ее песни, а сама горела.

С благодарностью вспоминаю милую Александру Владимировну. Правда, она меня не била, как ей наказывала мать, но держала меня в железных руках. А когда я заболела волжской лихорадкой, точно мать, ухаживала за мною. Вечером все наши уходили, но Александра Владимировна не раз прибегала посмотреть на меня, а если была занята, кого-нибудь присылала. Тогда чаще всего приходила одна хористка, Шура Крошка. Эта крошка была огромного роста и пудов восьми весу, но на могучих плечах красовалась на редкость прелестная, веселая головка. Она была доброты необычайной: для всех сестра милосердная. Если надо повернуть больного, Крошка как ребенка брала его на свои могучие руки. Если у кого горе, к кому пойти? К Крошке. Кто слезы осушит? Крошка. У больных по ночам кто подежурит? Крошка. Откуда она взялась в кабаке, бог ее знает. Обыкновенно принято думать, что в кафешантане много темной мерзости, а добра и света ни капли нет.

Я не могу защищать увеселительных мест, там много зла. Но должна сказать, что встречала и там совершенно чистых, хороших людей, и никакая грязь их не касалась.

Бывали у нас в хоре молодые девушки, кончавшие институты. Одна такая девушка, бледная красавица, когда приходила к ней мать, благообразная и почтенная с виду дама, просила, рыдая, матери к ней не пускать. Казалось нам странной ее рыдающая ненависть. Потом мы узнали, что эта благообразная родительница продала ее девичью чистоту какому-то старику.

А солистка нашего кафешантанного хора была вдова с двумя детьми. Она блестяще окончила Петербургскую консерваторию, а служила в кабаке потому, что боялась большой сцены и не решалась петь в опере. А детей кормить надо. Вот и носила всюду за собой эта чудная мать презрительную кличку «кафешантанная певичка».

Сорок человек было нас, и я не ошибусь, если скажу, что больше половины хора были честные труженики и скромные люди, а остальным, правда, все было трын-трава. Но нас, кафешантанных, конечно, валили в одну кучу.

В тяжелые времена нашего изгнания рестораны и

кафешантаны битком набиты дамами лучшего общества, и теперь они сами знают, что все зависит от себя: быть дурной или остаться хорошей. Кабак – что и говорить – скользкий путь, круты повороты, крепко держись, а не то, смотри, упадешь.

* * *

Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычайно: из деревни в монастырь, из монастыря в кафешантан. Но разве меня тянуло туда чувство дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенной чистоты-правды нет. Душа взбунтовалась и кинулась прочь.

Балаган сверкнул внезапным блеском, и почуяла душа правду иную, высшую правду – красоту, пусть маленькую, неказистую, убогую, но для меня новую и невиданную.

Вот и шантан. Видела я там хорошее и дурное, бывало мутно и тяжко душе – ох, как, – но «прыгать-то» было некуда. Дёжка ведь еле умела читать и писать, учиться не на что. А тут петь учили. И скажу еще, что простое наставление матери стало мне посохом, на который крепко я опиралась: «голосок» мне был нужен, да и «глазки» хотелось, чтобы тоже блестели…

Вспоминаю, как приехал в Царицын хор Славянского. Я тогда ходила как потерянная, завороженная, и, слушая его, стала гордиться, что и я русская. А сам Славянский казался мне славным богатырем из древних бывальщин, какие мне сказывали в детстве. Русская песня – простор русских небес, тоска степей, удаль ветра. Русская песня не знает рабства. Заставьте русскую душу излагать свои чувства по четвертям, тогда ей удержу нет. И нет такого музыканта, который мог бы записать музыку русской души; нотной бумаги, нотных знаков не хватит. Несметные сокровища там таятся – только ключ знать, чтобы отворить сокровищницу.

«Ключ от песни недалешенько зарыт, в сердце русское пусть каждый постучит…»

Славянский уехал, а наш хор пробыл в Царицыне еще год. Из Царицына мы потянулись в Астрахань.

В самом конце сезона, когда мы собирались уже на зиму в Киев, в «Аркадию», у нас случилось несчастье: милую Александру Владимировну… украли, ну да, просто украли. Только много позже выяснилось, что ее украл богач перс и увез на своей яхте в Баку. Лев Борисович Липкин, горячо любивший жену, едва не кончил самоубийством, да мы вовремя досмотрели. Об

Александре Владимировне не было ни слуху ни духу, и без нее мы перебрались в Киев.

Новая дирекция сада «Аркадия», «не останавливаясь ни перед какими затратами», решила устроить открытие на широкую ногу и, что называется, с помпой. После молебна, в заново отремонтированном двухсветном зале состоялся парадный обед для артистов и служащих. Господин директор «Аркадии», Васька Шкорупелов, бывший официант, обратился к лакеям с такой блестящей речью:

– Смотрить мини, охвицианты, шоб мини було усе у порядке, шоб с господами почище, с посудою поинтэлэхентнее…

Все рассмеялись, а Васька Шкорупелов и не заметил, что перепутал. Открыли сад «с помпой», но без Липкиной. В хоре чего-то недоставало.

Сам Липкин с горя запил, и к концу сезона наш хор развалился. Липкин на произвол судьбы нас не бросил и всех учениц из своей капеллы устроил в польскую балетную труппу Штейна, которая тогда приехала на гастроли в «Шато-де-Флер»[19].

Мы радовались, что поступили в хорошую труппу. Там были танцовщицы и танцоры Варшавского правительственного театра: прима-балерина Завадская, уже пожилая, но танцовщица отличная; первые танцовщицы: Згличинская, Токарская, и танцоры: Бохенкевич, Устинский и Плевицкий. Балетмейстером был Ваньковский. А балет иногда ставил Нижинский.

Нас, учениц, по нашим балетным знаниям, ставили в последние пары, «у воды». Но с нами занимались, а мы работали с усердием, и через год я уже танцевала в дивертисменте «Оберек», «Матлот», «Соло», а немного позже писала матери, что служу в балете, хотя была уверена, что мать не знает, что за птица балет. Я ей поясняла, что Дёжка танцует и даже неудачно пытается стать на носки. В том же письме я просила мать дать мне благословение на брак с солистом нашего балета Эдмундом Мячеславовичем Плевицким.

Благословение мать дала, и вскоре я была уже не Надя Винникова, а Надежда Плевицкая.

Мы много работали, и все шло хорошо, но в одну неудачную поездку по украинским городам наш директор Штейн прогорел и тайком скрылся, не заплатив жалованья. В труппе поднялся переполох, каждый старался куда-нибудь устроиться. На наше счастье, в Киев приехала труппа Манкевича, и мы с мужем поступили туда. В то время у Манкевича служил простак[20] Михаил Проценко, ныне талантливый комик петербургской оперетты Михаил Ростовцев, и тенор Василий Горев, тоже

талантливый опереточный простак. Моего мужа Манкевич принял на должность балетмейстера.

* * *

С труппой Манкевича я впервые попала в Санкт-Петербург. На Крестовском острове был тогда знаменитый загородный ресторан[21].

Зимой туда мчались ковровые тройки, хохотали бубенцы, кутались в заиндевелые соболя «гости дорогие»…

Полон сверкающий зал. Цветы, огни бриллиантов, сияют глаза, мелькают лица холеные, барские.

В зимнем саду, под темными лаврами, сидят новодеревенские[22] старухи-цыганки, зорко следя за своими смуглыми внучками, как бы не улыбнулись лишний разок блестящему гусару или рослому кирасиру. У цыган строго: если какая сверкнет черным глазом на барича, старая цыганка забеспокоится, подзовет:

– Ты проси лучше барина, чтобы хор пел, а лясы точить нечего.

Хоров было много: цыганский, русский, венгерский, малороссийский, итальянцы и мы, лапотники Манкевича. В праздники у нас было время посещать дневные спектакли. Бывали и в Мариинском, в балете, слушали и оперу, но чаще ходили в оперу в Народный дом. Это нам было доступно. Театр был моим отдыхом и моей школой…

Пять лет прослужили мы в труппе Манкевича. Я уже там премьерствовала. Манкевич, сам бывший оперный певец, всегда настаивал, чтобы я пела только народные песни. Давно уже меня приглашали в Москву к «Яру»[23], но я все не хотела покидать труппу, с которой за эти годы сжилась.

Но после долгих колебаний согласилась я наконец принять ангажемент в Москву. Директором «Яра» был тогда Судаков. Чинный и строгий купец, он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте: к «Яру» московские купцы возят своих жен и «Боже сохрани, чтобы какого неприличия не было». Старый «Яр» имел свои обычаи, и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила почтенного директора, что краснеть его не заставлю. Первый мой дебют был удачен. Не могу судить, заслуженно или не заслуженно, но успех был большой.

Москвичи меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама

Москва белокаменная, наша хлебосольная, румяная, ласковая боярыня, кого не заворожит!

Кланяюсь тебе земно, издалека, матушка наша. Улыбнись мне прежней улыбкой и прости, что, может, мало тебя, родная, ценила.

* * *

В Москве успех у меня был большой и потому предложений было много.

На зиму я возобновила контракт с «Яром», а на осень, за большой гонорар, подписала контракт на Нижегородскую ярмарку, к Наумову. По программе я стояла последней и выступала в половине первого ночи.

В зале обычно шумели. Но когда на занавес выбрасывали аншлаг с моим именем, зал смолкал. И было странно мне, когда я выходила на сцену: предо мной стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди. Бутылок множество, и выпито, вероятно, немало, а в зале такая страшная тишина.

Чего притихли? Ведь только что предо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые игривые песни, и в зале было шумно.

А я хочу петь совсем не веселую песню. И они про то знают, и ждут. У зеркальных стен, опустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи, а если кто шевельнется, все посмотрят, зашикают. Такое необычайное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь…

Помню, как-то за первым столом, у самой сцены, сидел старый купец, борода в серебре, а с ним другой, помоложе. Когда я запела «Тихо тащится лошадка», старик смотрел, смотрел на меня и вдруг, точно рассердясь, отвернулся. Молодой что-то ему зашептал, сконфузился.

Я подумала, что не нравится старому купцу моя песня, он пришел сюда веселиться, а слышит печаль. Но купец повернул снова к сцене лицо, и я увидела, как по широкой бороде, по серебру, текут обильные слезы. Он за то рассердился, что не мог удержаться, на людях показал себя слабым.

Заканчивала я, помню еще, свой номер «Ухарь-купец». После слов «а девичью совесть вином залила», под бурный темп, махнув рукой, уходила я за кулисы в горестной пляске, и вдруг слышу из публики, среди рукоплесканий:

– Народная печальница плясать не смеет.

Видно, кто-то не понял моей пляски, а пляской-то я и выражала русскую душу: вот плачет-надрывается русский, да вдруг как хватит кулаком, шапкой оземь, да в пляс.

* * *

Когда я пела в ресторане Наумова, в Нижегородском оперном театре гастролировал Собинов.

Раз он пришел к Наумову ужинать. Во время моего выхода он, как видно, наблюдал публику, а потом зашел ко мне, познакомился и сказал:

– Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант. Вы талант.

Всякий поймет мое радостное волнение, когда я услышала из уст большого художника, которым гордилась Россия, такие лестные для себя слова.

А Леонид Витальевич оказал мне и еще большую честь: он пригласил меня петь в своем концерте, который устраивал с благотворительной целью в оперном театре.

Распрощавшись со мной, Собинов ушел. Он и не знал, верно, тогда, что благодаря ему выросли у меня сильные крылья.

На другой день мне доложили, что меня желает видеть Собинов. Я была чрезвычайно польщена. Помню, он принес мне букет чайных роз и подтвердил приглашение на завтрашний концерт.

Шутка ли, петь первый раз в большом театре, да еще с Собиновым!

Я глубоко волновалась, надела лучший туалет, какой у меня только был, и с трепетом вошла в театр. В концерте участвовали Собинов, Фигнер, Рене Фигнер, еще оперные певцы, и я между ними – совершенное своенравие и музыкальное беззаконие.

Занавес взвился. Вышел Леонид Витальевич. Рассказывать не приходится, как он пел и как дрожал театр от рукоплесканий. После него пел дуэт оперных певцов, а за дуэтом вышла я.

Сначала я так трепетала, чуть не падала, но после первой песни горячие рукоплескания сблизили меня с публикой. Я совсем перестала волноваться, и захотелось мне рассказать песню простую, печальную…

Мой огромный успех доставил Собинову большое удовольствие. Я видела, как он радостно потирал руки, а его глаза сияли.

Наутро в местной газете был отзыв о концерте. Обо мне там было написано, что кафешантанная певица тоже как-то попала

среди артистов. Леонид Витальевич ездил в редакцию, сказал несколько неприятных слов писавшему и дал понять, что он, Собинов, тоже что-нибудь да понимает в искусстве.

Я не была знакома с Леонидом Витальевичем раньше, и Нижний – мое первое с ним знакомство.

Кто имеет удовольствие знать лично Собинова, тем известно, сколько в нем благородной простоты большого артиста и хорошего человека.

Благодарна я ему и поныне, что он поставил меня рядом с собою на почетные подмостки большого театра в 1909 году.

На 1909 годе я пока и закончу рассказ, а в другой книге хотела бы я рассказать о пути моем уже с песней, о многих встречах, о многих людях и о том, как вернулась в родное село уже не Дёжка Винникова, а Надежда Плевицкая.

* * *

Вот думала, гадала ли я, что над озером, во Франции, в Мёдонском лесу, буду вспоминать село Винниково, и песни подруг, и тихое бормотание прялок в зимние вечера.

Далеко меня занесла лукавая жизнь. А как оглянусь в золотистый дым лет прошедших, так и вижу себя скорой на ногу Дёжкой в узеньком затрапезном платьишке, что по румяной зорьке гоняется в коноплях за пострелятами-воробьями. Вижу, как носится Дёжка-игрунья в горячем волнении карагодов – от солнца, от пляски. Льют вишневый блеск шелка полушалков, паневы да кички кипят огненной пеной.

И вижу, как плавно ступает по монастырскому двору, что красным кирпичом в елочку вымощен, тоненькая, словно березка, тихая монастырка Надежда, и строгий плат до бровей… С обрыва видна дальняя даль: синеют леса святорусские, дым деревень, пески, проселки-дороги, хлеба. Вот облака-паруса осветило кротким румянцем. Заря, моя зорюшка, нежная, алая, свет тишайший над Русью.

Поднять бы к ней руки, запеть, позвать бы в дальнюю даль. И вдруг поплыл гул, бархатистый, дрожащий, отдался в ушах щекоткой и звоном: чудо-колокол к ранней ударил.

Аминь.

Мёдон, 10 шюля 1924 года

Книга вторая. Мой путь с песней

Нежно любимому другу
М.Я. Эйтингон посвящаю

На чужбине, в безмерной тоске по Родине, осталась у меня одна радость – мои тихие думы о прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка-Русь и лелеяла нас в просторах своих.

Далека родимая земля, и наше счастье осталось там. Грозная гроза прогремела, поднялся дикий, темный ветер и разметал нас по всему белому свету. Но унес с собой каждый странник светлый образ Руси, любви к отечеству дальнему и благодарную память о прошлом.

Светит такой непогасимый образ и у меня.

* * *

За пятнадцать лет изъездила я великие русские просторы, не сосчитать, сколько десятков тысяч верст отмерила, а не объездила всей России.

Началом моих длинных и частых путешествий был 1909 год, когда, после моих гастролей в Нижнем Новгороде, на ярмарке, была я приглашена в Ялту, в летний театр к Зону.

Стоял золотой сентябрьский день. Я вышла с вокзала в Севастополе, и уже через час по ослепительно-белому шоссе автомобиль мчал меня в Ялту.

Молодой, крылатой была тогда моя душа, и казалось, вот вырвется из груди и улетит в солнечную даль. А тут мелькают сады виноградные, по зеленым холмам отары звенят бубенцами, между гор вьется белая дорога. Автомобиль летит, и встречный ветер весело шумит в уши, что жизнь прекрасна, прекрасна.

Вот и Байдарские Ворота. В восторженном изумлении смотрит путник на синюю морскую даль с головокружительной высоты. Словно чудо Божие открывается перед ним. Здесь становится страшно пред величием Творца, потому здесь и храм на отвесной скале. Строители его понимали, что на сем месте помолится каждый.

А машина уже мчится вниз от Байдарских Ворот. Не знаешь, куда и смотреть: направо, в синем море, реют белые паруса, налево, в поднебесье, парят орлы над гранитными кряжами. Так, с затуманенной от дороги головой, примчалась я в Ялту.

А у государевой Ливадии[24] повстречала я иных орлов. В темно-синих с желтым черкесках, в черных папахах с красным верхом, они гарцевали на статных конях. Бородачи, один другого краше, конвойцы его величества. Им поручена почетная стража вокруг русского царя.

* * *

В ту осень в Ливадии пребывала государева семья, и кажется, вся знать съехалась в Ялту.

Гостиницы были переполнены. Мне с трудом нашли скромную комнату на даче Фролова-Багреева, но хотя бы и в шалаше поселили, мне было бы хорошо. Благословенный край. Воздух напоен дыханием моря и буксуса[25]. Средь темных кипарисов высятся прекрасные белые дворцы. Неумолкаем нежный звон цикад.

Помню ясный ласковый день в первых числах октября. Я стояла на набережной, прислонясь спиной к железной решетке, слушала близкий плеск волн и глядела на толпу, тесно плывущую мимо. Такая праздничная и нарядная, такая беззаботная и красивая толпа «бархатного сезона».

Какие прелестные женские головки, какие легкие, как облако, наряды! Приятно звенят шпоры ловких гусар, рослых кирасир. Неслышно скользят конвойцы с перетянутой талией. Проходят загорелые, крепкие моряки в белых, как кипень, кителях. По свежеполитым торцам шелестят экипажи и слышен приятный, дружный топот копыт.

Но вот со стороны Ливадии послышался частый, рассыпчатый топот иноходца, и мимо нас промчался весь в золоте седой татарин. Его появление возвещало, что едет царь. Вся толпа вдруг зашумела, все бросились занять места, откуда лучше можно увидеть государя и его семью.

Экипаж, в котором сидел государь, приближался, а за ним катилась восторженная волна могучего «ура». Мурашки побежали у меня по телу, и к горлу подступили нечаянные слезы от этой волны человеческих голосов, выражающих любовь.

Головы обнажились, и в воздухе веяли шапки, платки, и лилась, лилась широкая, ликующая волна – ура-а-а!

Государя провожали в Италию, а я стояла в толпе и утирала слезы.

Затем, протолкавшись сквозь толпу, увидела хорошее, ласковое, знакомое по портретам лицо государя.

Знала я это лицо уже давно, еще тогда, когда я Дёжкой

называлась.

И вспомнилась мне большая, с голубым глянцем, лубочная картина на белой стене нашей избы. А на той картине была изображена семья императора Александра III.

Помню, давно, в предвечернюю пору вошел в избу отец и тревожно сказал:

– Зажигай, мать, лампаду, помолимся Господу за спасение царской семьи.

Я прижалась к матери. Отец рассказал, что известили на сходе о злом умысле на царскую жизнь в Борках и о том, как царь-богатырь один поднял вагон и вынес из-под него свою младшую дочь.

Мы стали на молитву.

Опустился на колени мой отец, старый николаевский солдат. Пред образами, освещенными тихой лампадой, шептала мать горячие молитвы: печать креста творила с верой и клала поклоны. На нас смотрел Николин лик, и будто угодник добрый серчал. Мать помолилась, подошла к голубой картине.

– Вот, видишь, Дёжка, наш государь, а в голубом матушка-царица. За ней наследник, а вот младший. Миколай, вишь, вьюноша совсем. А на коленях у царя дочь ихняя Ольга, самая меньшая, которую из-под вагона царь вынес. Ах, деточка бедная!

Мать суровой ладонью гладила картину.

– А вот, Дёжка, постарше царевна, Ксения, Аксютою по-нашему зовут. Спаси их, Господи, и помилуй, – шептала мать и все вздыхала.

* * *

Прекрасная ялтинская погода сменилась дождями. Зон закрыл свое «казино», не исполнив со мной условий. У московского «Яра» я должна была петь только с ноября, и октябрь у меня был не занят. А кто не знает, что долгий отдых вреден для артистов?

В городском театре тогда играла украинская труппа Глазуненко. Актеры были хорошие, но сборы неважные. Меня познакомили с Глазуненко, и при первой же встрече он пожаловался мне, что горит.

В свой черед пожаловалась и я, что сижу весь октябрь без дела и согласилась бы на гастроли в его театре.

Второй раз в жизни набралась я смелости, предлагая свои услуги. Первый раз было в Курске, когда я в балаган просилась. Глазуненко замахал на меня руками и сказал попросту:

– Что вы, что вы, я не могу расплатиться с артистами и ничего вам не могу обещать. Я вас мало знаю.

Я похвасталась, что москвичи по «Яру» меня знают, а москвичей сейчас много в Ялте.

Глазуненко предложил мне выступить у него на процентах без риска и без всякого контракта, обещая мне 20 процентов с чистой прибыли. Я согласилась.

Через три дня афиши возвещали о двух моих гастролях в городском театре.

После «Запорожца за Дунаем», в концертном отделении, должна была петь я.

День выступления был волнующий. Я пришла к театру и увидела у подъезда много автомобилей и экипажей. Обычно пустующий театр был полон. Стало быть, публика пришла для меня.

– Господи, помоги, – молилась я. – Как бы не провалиться!

Но «Запорожец» подходил к концу. Вот и занавес упал. За кулисами шумят, меняя декорации. Мы с аккомпаниатором Заремой от волнения раза три поссорились.

– Эх, Рубинштейн! – язвила я старика.

– Ух, ведьма! – огрызался он.

Но, посмотрев друг на друга, мы рассмеялись. После третьего звонка, когда занавес, шурша, поднялся вверх, я перекрестилась и вышла на ярко освещенную сцену. За мной тянулся длинный шлейф моего розового платья. А пол-то грязный, а платье-то дорогое, но Бог с ним, с платьем, – унять бы только дрожь в коленях. А в зале темно, не вижу никого, и лишь пугающе поблескивают из тьмы на меня стекла биноклей.

Мне непривычна такая темень, кому я буду петь, с кем беседу поведу, кому буду рассказывать, не этим же страшным стеклам, мерцающим в потемках?

Я должна видеть лица и глаза тех, кто меня слушает. Но с первым аккордом мой страх унялся, а потом, как всегда, я захмелела в песнях.

По моему знаку зал осветили.

Мне стало уютно. Сверху, из райка, мне кивали гимназистки, мне улыбались из первых рядов.

И я уже знала, что все в зале друзья мои. Успех полный, понапрасну я так волновалась.

В уборной теснится народ. В голове у меня перепутались лица и имена поздравляющих, и во всем теле звучит радость победы.

А на другое утро прочла я в «Ялтинском вестнике» первую обо мне статью: «Жизнь или искусство». Неизвестный автор ее

удивил меня тем, как почувствовал каждую мою песню. Будто душу мою навестил.

* * *

Второй мой концерт прошел с аншлагом, и в тот же вечер командир конвоя Его Величества князь Юрий Иванович Трубецкой передал мне приглашение министра двора барона Фредерикса выступить у него.

Я с удовольствием приняла лестное приглашение.

В придворном экипаже князь Трубецкой привез меня в гостиницу «Россия», в которой занимал апартаменты министр двора. В парадном белом зале барон подвел меня к баронессе, маленькой старушке в сером шелку и в гирлянде бриллиантов, которыми баронесса прикрывала свой зоб.

Старушка была любезна со мной, и я чувствовала, что она добра и что любезность ее искренняя. Но было в ней что-то чужое, не русское.

Чужим показался мне и сам барон Фредерикс, барственный старец с великолепной сединой.

Князь Юрий Иванович, который взял меня под свое покровительство, представляя меня большому обществу, говорил:

– Прошу любить. Моя дочка.

Я стала у рояля. Предо мной было лучшее петербургское общество, почти вся придворная знать, блестящие слушатели, но сердце вдруг вспомнило москвичей.

Добродушные мои москвичи, с прекрасным, сочным говором, показались мне тогда более русскими, более сердцу понятными, чем эти изысканные петербуржцы с плохой и картавой русской речью. К тому же изъяснялись они между собой на чужом языке. А тут еще две-три милые дамы наставили лорнетки, рассматривая меня, как вещь. Неприятное чувство подняли во мне эти дамские лорнетки, и я подумала, что мои москвички воспитаннее этих дам с лорнетами.

В довершение всего одна из дам с очень русской фамилией, путая русскую и французскую речь, стала расспрашивать меня о моих песнях:

– Что такое куделька[26], что это батожа[27]?

Я ей объяснила. Дама вскинула лорнет, осмотрела меня с ног до головы, сказала:

– Charmante! Вы очень милы.

И поплыла по залу.

Я тихо спросила у генерала Николаева, который стоял рядом

со мной:

– Разве эта дама не русская?

Милый генерал, с голубыми глазами и белоснежной седой головой, ответил так же тихо и коротко:

– Она русская, но дура.

Но к концу концерта мои первые впечатления вовсе были рассеяны милой беседой с графиней Александрой Илларионовной Шуваловой и ласковой графиней Бенкендорф.

А дворцовый комендант В.А. Дедюлин покорил меня своей внешностью хорошего русского солдата и искренней прямотой беседы.

– Мне жаль, – говорил он, – что государя нет в Ливадии. Он, наверное, пожелал бы послушать вас. Он так любит народную песню.

И почему-то печаль дрогнула в его голосе, и мне показалось, что черные глаза дворцового коменданта наполнились слезами. В белом зале на приеме у барона Фредерикса я встретила тогда много хороших друзей, с которыми меня разлучила только грозная гроза, ветер дикий и темный.

* * *

Успех десяти концертов в Ялтинском театре, у Глазуненко, был началом моей концертной дороги.

Я не вернулась к «Яру» московскому. Судаков так на меня за это рассерчал, что для одного сраму, а не ради денег прислал описывать мои пожитки в театре Блюменталь-Тамарина, где я давала концерт.

Но Маша, моя шустрая горничная, спрятала наряды, и когда я вернулась со сцены в уборную, то, кроме пары парчовых туфель и судебного пристава, описывающего туфли, никого и ничего у себя не нашла.

Мы посмеялись с приставом, и скоро ковровая тройка, трезвоня бубенцами, понесла нас к «Яру». Мы привезли Судакову мои описанные сокровища. Под пение цыган Судаков пил со мной из парчовых туфель мировую.

Судаков мужик был умный и понимал, что моя дорога от «Яра» перекинулась в Большой зал Консерватории, где уже был объявлен мой первый концерт. Он знал, что все билеты на него проданы, и даже не пытался упрашивать меня о возвращении к «Яру».

Первым концертным импресарио моим был маленький и пузатенький В.В. Семенов с белым кукольным лицом. Еще в

Крыму он заключил со мной договор на десять концертов. С каждого я получала по триста рублей.

Когда сборы стали давать по пяти тысяч на круг, Семенов засовестился, что мало мне платит, но трехсотрублевого гонорара не повысил, а стал мне подносить на каждом концерте подарки, и все громоздкие. Раз даже поднес большую чугунную статую с электрическими лампами, и, когда человек подвинул ее ко мне на сцене, Семенов включил провода, и пыхнуло мне ярким светом прямо в лицо.

Он этакие чудачества любил, а я их терпеть не могла. Ну и досталось ему за его подарок!

Я не была жадна на деньги, и только успех искренно радовал меня. Концерты с В.В. Семеновым еще не были закончены, а я уже подписала новый договор, с В.Д. Резниковым, более выгодный. Резников сам мне предложил сорок концертов с гарантией: десять в столицах по две с половиной тысячи рублей за каждый, десять по тысяче рублей и двадцать по восемьсот.

Вот и достаток ко мне пришел, что позволило мне взять хорошую квартиру в Дегтярном переулке.

Квартира устраивалась, а я, как поселилась по приезде из Крыма в меблированных комнатах у Ванечки Морозова на Большой Дмитровке, так там и жила.

Ванечку в Москве знали хорошо, и уютные его покойчики всегда были заняты артистами.

Моими соседями были М. Вавич и опереточная певица Миликетти, сверкающая бриллиантами и красотой.

Помню в первых числах марта белое московское утро. Падал хлопьями тихий снег, ложился мягким пуховиком за окном, на подоконник, причудливо и пышно нарядил деревья – и все стало сребристым и светлым. Снег тихо колдует над Москвой, и впрямь стала Москва словно Серебряная царевна в своем покое снежном.

Так бы и не отходила от окна, все смотрела, смотрела бы на эти белые, колдующие хороводы, на притихшую, запушенную улицу, по которой с храпом проносятся рысаки, в дымке дыхания и снега, а бубенцы бормочут, смеются и все куда-то спешат, спешат.

Сквозь белую дымку мелькают дуги расписные, легкие сани, седоки в бобрах.

Зимнее московское утро, родимая Москва, Серебряная царевна моя, сон далекий…

Я помню, это было утро после моего прощального бенефиса в театре «Буфф». Я расставалась с милым моим директором, чудеснейшим Блюменталь-Тамариным.

И судьба, которая что хочет, то с нами и делает, была такова,

что я прощалась с ним навсегда: вскоре Блюменталь-Тамарин скончался внезапно. Накануне кончины он видел во сне свои собственные похороны. Сон оказался вещим. А в то белое утро, после театральных именин, яи себя чувствовала именинницей, глядя на цветы и подарки, от которых было тесно в комнате.

Горничная Маша, мой неизменный спутник тех лет, принимала мои успехи и на свой счет и говорила:

– Ну и подарков мы вчера получили – пропасть. А успех у нас был – ужасти.

В дверь постучали. Выбежав на стук, Маша вернулась с ошалелыми, круглыми глазами: просит приема московский губернатор Джунковский.

– Милости прошу, – сказала я входящему генералу Джунковскому.

Губернатор был в парадном мундире. Мне была понятна оторопь Маши при появлении в нашей скромной квартире такой блестящей фигуры: было с чего ошалеть.

– Я спешил к вам, Надежда Васильевна, прямо с парада, – сказал Джунковский. – Я приехал с большой просьбой по поручению моего друга, командира Сводного Его Величества полка, генерала Комарова. Он звонил мне утром и просил, чтобы я передал вам приглашение полка приехать завтра в Царское Село петь на полковом празднике в присутствии государя императора.

– Кто же от своего счастья отказывается? – сказала я, вставая. – Только как быть с моим завтрашним концертом? Ведь это мой первый большой концерт в Москве, да и билеты распроданы.

– С вашего позволения я беру все это на себя. Я переговорю с импресарио, и в газетах объявим, что, по случаю вашего отъезда в Царское Село, концерт переносится на послезавтра.

Конечно, долго уговаривать меня не приходилось. Я была согласна.

Генерал Джунковский сказал, что для меня оставлено место в курьерском, пожелал успеха в Царском Селе и распрощался.

От неожиданной радости белого утра, от цветов, которые свежо дышали в моей комнате, у меня приятно кружилась голова. Я видела из окна, как серый в яблоках рысак унес закутанного в николаевскую шинель статного московского губернатора. Унеслись годы и годы, а утро белое, Серебряная царевна – Москва живет во мне: как хорошо, как радостно вспомнить то утро!

В тот день Маша вертелась волчком, спешно готовясь к отъезду. Она уложила меня в постель набраться сил на завтра, а сама хлопотала. Надобно было решить важный вопрос: какое мы платье наденем. И решили мы надеть белое от Пантелеймоновой

и украсить себя всеми драгоценностями, какие только имеются, а на голову еще парчовую повязку.

А позже я узнала, что государь о моем пышном наряде отозвался неодобрительно и высказал сожаление, что я не была одета более скромно.

Позже были скромны мои платья, когда я пела в присутствии его величества.

* * *

С моим другом, Марией Германовной Алешиной, которая умела меня уберечь от лишних волнений и усталости, я приехала в Петербург, а оттуда в Царское Село. В доме В.А. Дедюлина, во флигеле, для меня были приготовлены комнаты для отдыха. В десять часов вечера мне позвонил из собрания командир Сводного Его Величества полка и сказал, что за мной выехал офицер.

С трепетом садилась я в придворную карету. Выездной лакей, в красной крылатке, обшитой желтым галуном и с черными императорскими орлами, ловко оправил плед у моих ног и захлопнул дверцы кареты. На освещенных улицах Царского Села мы поднимали напрасное волнение городовых и околоточных; завидя издали карету, они охорашивались и, когда карета с ними равнялась, вытягивались.

Такой почет, больше к карете, чем ко мне, все же вызывал у меня детское чувство гордости.

Через несколько мгновений я увижу близко государя, своего царя. Если глазами не разгляжу, то сердцем почувствую. Оно не обманет, сердце, оно скажет, каков наш батюшка-царь.

Добродушный командир полка В.А. Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил мое волнение.

– Ну чего вы дрожите, – сказал он, – ну кого боитесь? Что прикажете для бодрости?

Я попросила чашку черного кофе и рюмку коньяку, но это меня не ободрило, и я под негодующие возгласы В.А. Дедюлина и А.А. Мосолова приняла двадцать капель валерьянки.

Но и капли не помогали.

И вот распахнулась дверь, и я оказалась перед государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от государя.

Я поклонилась низко, и посмотрела прямо ему в лицо, и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом.

Словно чудо случилось, страх мой прошел, я вдруг успокоилась.

По наружности государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. А все же, если бы я и никогда не видела раньше государя, войди я в эту гостиную и спроси кто меня: «Узнай, кто из них царь?» – я бы не колеблясь указала на скромную особу его величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, величественной простотой своей и покоряющей скромностью. Потому я его и узнала бы. Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был его.

Я пела много.

Государь был слушатель внимательный и чуткий. Он справлялся через В.А. Комарова, может быть, я утомилась.

– Нет, не чувствую я усталости, я слишком счастлива, – отвечала я.

Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечания мне не сделал.

Теперь, доведись мне петь царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрила бы и песни этакой царю и не пела бы, но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, ведать не ведала, а о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть.

А как я была в политике не таровата, достаточно сказать то, что, когда слышала о партии кадетов, улавливала слово «кадет» и была уверена, что идет речь об окончивших кадетский корпус.

А песни-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь-рассказывать, как не царю своему батюшке? Он слушал меня, и я видела в царских глазах свет печальный. Пела я и про радости, шутила в песнях, и царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную.

Я пела государю и про московского ямщика:

Вот тройка борзая несется,
Ровно из лука стрела,
И в поле песня раздается —
Прощай, родимая Москва!
Быть может, больше не увижу
Я, Златоглавая, тебя,
Быть может, больше не услышу
В Кремле твои колокола.
Не вечно все на белом свете,

Судьбина вдаль влечет меня,
Прощай, жена, прощайте, дети,
Бог знает, возвращусь ли я?
Вот тройка стала, пар клубится,
Ямщик утер рукой глаза,
И вдруг ему на грудь скатилась
Из глаз жемчужная слеза.

После моего ямщика государь сказал А.А. Мосолову:

– От этой песни у меня сдавило горло.

Стало быть, была понятна, близка ему и ямщицкая тоска.

Во время перерыва В.А. Комаров сказал, что мне поручают поднести государю заздравную чару.

Чтобы не повторять заздравную, какую все поют, я наскоро, как умела, тут же набросала слова и под блистательный марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля, запела:

Пропоем заздравную, славные солдаты.
Как певали с чаркою деды наши встарь,
Ура, ура, грянемте, солдаты,
Да здравствует русский наш сокол государь!

И во время ритурнеля медленно приблизилась к царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал. Я пела ему:

Солнышко красное, просим выпить, светлый царь,
Так певали с чаркою деды наши встарь!
Ура, ура, грянемте, солдаты.
Да здравствует русский, родимый государь!

Государь, приняв чару, медленно ее осушил и глубоко мне поклонился.

В тот миг будто пламя вспыхнуло, заполыхало – грянуло громовое «ура», от которого побледнели лица и на глазах засверкали слезы.

Когда государя уже провожали, он ступил ко мне и крепко и просто пожал мою руку.

– Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть. Я

много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда. – Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу. – Надеюсь, не в последний раз я слушал вас. Спасибо!

И снова крепко пожал мне руку.

В ответ на милостивые слова государя я едва могла вымолвить:

– Я счастлива, ваше величество, я счастлива.

Он направился к выходу, чуть прихрамывая, отчего походка его казалась застенчивой. Его окружили тесным кольцом офицеры, будто расстаться с ним не могли.

А когда от подъезда тронулись царские сани, офицерская молодежь бросилась им вслед и долго бежала на улице без шапок, в одних мундирах.

Где же вы – те, кто любил его, где те, кто бежал в зимнюю стужу за царскими санями по белой улице Царского Села? Иль вы все сложили свои молодые головы на полях тяжких сражений за Отечество? Иначе не оставили бы государя одного в дни грозной грозы с неповинными голубками-царевнами и голубком-царевичем.

Вы точно любили его от всего молодого сердца.

* * *

На первом моем московском концерте в Большом зале Консерватории москвичи удостоили меня бурной овацией. А когда я вышла после концерта к автомобилю, меня ждала у подъезда тысячная толпа и так приветствовала, и так теснилась, что студенты устроили вокруг меня живую цепь.

У двери автомобиля стоял, и почему-то без шапки, сам московский градоначальник А.А. Андрианов. Он помог мне сесть, он что-то говорил, что-то радостно кричали бежавшие за автомобилем студенты. Я вовсе растерялась.

Опомнилась я только в курьерском поезде, который мчал меня в Петербург, где я должна была петь на другой же день после московского концерта.

Мое купе дышало цветами, в ровной дрожи поезда мне точно кивали головки гвоздик, свежие розы и даже родные васильки, маки, колосья ржи. Откуда только их взяли в эту пору?

От озноба, который меня посещает всегда после большого душевного подъема, стучали мои зубы.

А Маша то давала мне капель, то горячего молока и

тараторила без умолку об «ужастях» московского успеха.

Сон не шел ко мне, в голове звенели колокола, и сердце ширилось от благодарной любви ко всем людям, ко всему миру, за то, что нежданно и незаслуженно, сама не знаю за что, полюбили люди мое простое художество, мои крестьянские песни. Тенишевский зал[28], где был мой первый петербургский концерт, блистал в тот вечер диадемами, эполетами, дорогими мехами.

Князь Ю.И. Трубецкой, командир конвоя Его Величества, отечески позаботился о моем концерте и превратил его в большое событие петербургского дня.

В высшем обществе столицы каждый день той зимы приносил мне новую почетную встречу и новые знакомства, новую ступень вверх и новые радости, которые дает только прекраснейший труд художества.

В ту зиму Сергей Саввич Мамонтов познакомил меня с Ф.И. Шаляпиным.

Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, покрытый светлым дорогим покрывалом. За тем роялем Федор Иванович в первый же вечер разучил со мной песню «Помню, я еще молодушкой была».

Кроме меня, у Шаляпиных в тот вечер были С.С. Мамонтов и знаменитый художник Коровин, который носил после тифа черную шелковую ермолку.

Коровин, как сегодня помню, уморительно рассказывал про станового пристава на рыбной ловле, а Федор Иванович в свой черед рассыпался такими талантливыми пустяками, что я чуть не занемогла от хохота.

Удивительная в нем сила, в Шаляпине: если даже расскажет чепуху, то так расскажет, что сидишь с открытым ртом, боясь проронить хотя бы одно его слово.

На прощанье Федор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась где-то у него под мышкой. Сверху, над моей головой, поплыл его незабываемый бархатный голос, мощный соборный орган.

– Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет, – я слобожанин, не деревенский.

И попросту, будто давно со мной дружен, он поцеловал меня.

* * *

На ту пору жизни моей мир казался мне прекрасным

праздником, сверкающим огнями. Но чаще стали долетать до меня и голоса человеческого горя. Неслись ко мне с разных концов матушки-России слезные письма с просьбами о помощи: кому деньгами, кого на казенный счет учиться устроить, кого на лечение отправить, кому пенсию выхлопотать.

Бог послал мне именитых друзей, которые ни в чем мне не отказывали, и складывала я все эти просьбы в конверт и адресовала так: «Петербург, Мойка, 91. Его превосходительству М.А. Стаховичу[29]».

Я была уверена, что мой добрый друг мне ни в чем не откажет, а погладит свою барскую, пахнущую дорогими сигарами бороду, скажет слегка в нос: «А, умная дурочка, опять кучу просьб прислала» – и выполнит все, что может: кому денег пошлет, за кого похлопочет в казенном месте.

А кто откажет М.А. Стаховичу, члену Государственного совета, петербургскому златоусту и отменному хлебосолу, у которого всюду друзья?

И точно, через недельку я получала от доброго друга такое послание:

«Государыня моя матушка, Надежда свет Васильевна, все, что мне приказать соизволила, исполнено в точности. Верный по гроб жизни, холоп твой Мишка».

Всегда так. Хлопочет, делает дела добрые и за труд не почтет, и все в шутку обратит. А делал все это он потому, что был у него добрый ум и нужду людскую он понимал. Он настоящим барином был, и любил деревню, и знал мужика, и песню русскую умел слушать.

Когда желал М.А. Стахович послушать песен, никогда петь не просил, а так издалека подойдет: артист сам загорался и пел не по просьбе, а по вдохновению.

Однажды, в день моих именин, он такой милой хитростью обошел и Шаляпина, и пел Федор Иванович так, что я никогда не забуду.

Помню еще, как пригласил меня М.А. Стахович погостить у него недели две в имении на черноморском побережье, в восьми верстах от Сочи.

Я приехала, а там уже гостят Мария Валентиновна и Федор Иванович Шаляпины, артистка французской комедии Роджерс. Ждали и Максима Горького, но что-то его задержало.

Был тяжелым для меня тот пятнадцатый год: 28 января на фронте смертью храбрых пал мой любимый жених[30], а 5 июля я похоронила мою матушку, родную старушку.

Тяжкое горе тогда закрыло от меня мглою весь Божий свет. Но на черноморском берегу я снова стала примечать, что не погас

день красы Божьей, как был, так и стоит, и солнце так же светит, как и раньше. И черная мгла горя и слез понемногу стала рассеиваться. Солнце заглянуло и в мою осиротелую душу.

При въезде в имение Стаховича из ворот, потонувших в розах, показалась навстречу крытая телега. Я подумала: «Как она похожа на гроб».

– Что за телега? – спросила я шофера.

Тот что-то ответил неразборчиво.

Кончилась банановая аллея, мы подъезжали к дому. Там ярким вишневым пятном горело платье Марии Валентиновны и стояли двое в белом с головы до ног: я узнала богатырскую фигуру Шаляпина, узнала и милого хозяина, похожего холеной бородой на дедушку Авраама.

При встрече все в доме показались мне озабоченными. Я заметила, что Шаляпин был мрачен, задумывался и будто не находил себе места. Только Роджерс не унывала, бегала на Мацесту ванны принимать и по утрам долго хлестала себя резиной для омоложения. Когда мы пили на террасе утренний кофе, Федор Иванович пробовал шутить:

– Это она во отпущение грехов себя бичует.

Но как-то ему не шутилось.

За завтраком мне подали почту и несколько телеграмм. Одна из них была из дому: «Волнение вредно, возвращайся домой».

Я побледнела, читая ее, и подала М.А. Стаховичу, чтобы он расшифровал мне смысл.

Я снова волновалась, ожидая нового горя, хотя все страшное уже случилось и все дорогое, что было у меня, унесла могила, и что теперь ни случись со мной, не стоит волнения.

Стахович пытался объяснить тревогу моих домашних германским «Гебеном»[31], который тогда обстреливал Сочи. Но после завтрака отозвал меня в сторону дедушка Авраам и сказал вовсе иное:

– Ваши домашние, вероятно, узнали из газет, что Федя здесь у меня в доме убил человека. Мы это скрыли от вас, чтобы не волновать. Мертвое тело лежало здесь до следствия. Его увезли за несколько минут до вашего приезда. Телега, которую вы встретили при въезде, увозила убитого. Федя, да и мы, конечно, потрясены случившимся. Как видите, он ходит сам не свой.

После разговора с хозяином я пыталась успокоить Федора Ивановича.

Сама судьба привела несчастного юродивого бродягу за смертью в спальню великого певца.

Чем иначе объяснить выстрел Шаляпина ночью, в потемках, без прицела? Но пуля угодила несчастному бродяге прямо в

сердце. Не судьба ли? Я говорила Шаляпину, что каждый поступил бы так же, как он.

Понемногу Федор Иванович стал успокаиваться.

А 17 сентября, когда были срезаны в саду все розы и столовая благоухала, как пышная оранжерея, сидели за праздничным столом три именинницы. Наш хлебосольный хозяин превзошел самого себя.

Федор Иванович был весел, но петь не собирался, а все желали услышать его.

Хозяин и начал тогда свой хитрый обход. Он вспомнил какой-то вечер, необыкновенный, чудесный, когда пел Шаляпин.

– Что это было, ах, что это было! И как ты, Федя, пел, боже мой!

Тут хозяин, потряхивая седой бородой, сам запел фальшивым голосом:

– «Ты взойди-и, со-о-л-нце кра-а-асное…» Как ты пел, Федя! Вся Россия в твоей песне дышала! – воскликнул он горячо.

У Шаляпина разгорелись светло-серые глаза. Хозяин посмотрел на меня мельком: «Ну, теперь слушайте».

И Федор Иванович запел, не приметив дружеской хитрости. Мы притихли, притаились, мы погружались всем существом в каждый горящий звук великого певца. Да, это пела сама душа России.

* * *

Я вспомнила милого Стаховича, вспомнила добрых друзей и мой черный пятнадцатый год, смерть жениха и кончину матушки. Воспоминания унесли меня вперед.

Нет, вернусь лучше назад, к первым годам, к первым концертам, когда еще была в живых моя мать.

Хороших людей посылал мне Бог на моем пути и как же не вспоминать о них! О людях, по моему разумению, дурных я забывала тотчас, как только их по-настоящему узнавала. Врагов, я думаю, у меня не было. Поэтому для них и места нет в моей памяти.

Мне нынче кажется, что я не жила, а все радовалась. В прошлом я принимала богатые дары от судьбы. В настоящем я живу прошлым, любовной памятью о нем, и вот в памяти моей всплывает московский вечер у К.С. Станиславского, кажется, в Каретном ряду.

Мы с А.Л. Вишневским поднялись по лестнице, и наверху меня встретил сам К.С. Станиславский. Он подал мне целый сноп

красных гвоздик и под руку ввел меня в зал. Нас остановили рукоплескания тех, кто запретил рукоплескать самим себе в своем театре-храме, с чайкой на сером занавесе. Благодарно я поклонилась всему высокому собранию художников московских. Все волшебники московские были тут в сборе и шумели и веселились, точно ребята.

На широком диване, поджав ноги, сидела клавесинистка Ванда Ландовская.

Бархатное черное платье, прическа на пробор, ну точь-в-точь старинный портрет сороковых годов. А рядом с нею сидит все Замоскворечье в лицах, – наш любимый И.М. Москвин. Я скажу, что его голос, мягкий и ласковый, и речь, родную, чистую, мне было приятнее слушать, чем клавесины Ванды Ландовской. Кому посчастливилось бывать среди московских волшебников, тот знает, какое светлое наслаждение слушать их талантливые шутки, быстрые остроты, причудливые выдумки.

Конечно, я тогда пела. Им моя песня понятнее, чем певцам. Певцу важнее, куда направить звук, а художнику слова – важнее лепка и переживание.

В этот вечер я слышала, как Лужский сказал Вишневскому:

– Ты заметил, у Плевицкой расширяются зрачки, когда поет. Это значит, что душа горит. Это и есть талант.

А Станиславский дал мне тогда один хороший совет.

– Когда у вас нет настроения петь, – сказал он, – не старайтесь насиловать себя. Лучше в таком случае смотреть на лицо, которое в публике больше всех вам понравилось. Ему и пойте, будто в зале никого, кроме вас да его, и нет.

Совет Станиславского не пропал даром. И теперь им пользуюсь, когда пение не ладится.

Выйду на эстраду, осмотрю зал, где обыкновенно бывает много милых лиц, и, глядя на них, поддаюсь хорошему настроению. При этом я всегда вспоминаю Константина Сергеевича. Образ московского мага в ослепительной седине, может быть, больше всего вдохновляет меня.

С благодарностью вспоминаю я моих добрых друзей, которые не только слушали мои песни, но помогали мне жить и, можно сказать, воспитывали меня.

Помню, как они уговорили меня оставить мысль об оперетте, куда меня одно время влекло.

Помню, как на одном концерте я, по совету моих высоких друзей, сняла бриллианты, надев их для концерта слишком много. Однажды, на вечере у Половцова, в присутствии великих князей, я не удержалась и прошлась в пляске под песни цыган, которых очень люблю. Через несколько дней, на одном из вечеров

у великой княгини Марии Павловны, князь Ю.И. Трубецкой, покидая по делам дворец до конца концерта, взял меня за руку, как маленького ребенка, подвел к своей жене, княгине Марии Александровне, и сказал:

– Мэри, я ухожу и оставляю ее на твое попечение. Смотри за ней, чтобы она опять каких-нибудь глупостей не наделала.

Глупостью, по его мнению, была моя цыганская пляска. Он полагал, что народная певица не должна носиться в цыганщине.

А стоило мне, бывало, прихворнуть, как друзья спешили ко мне со своими услугами.

Профессор по горловым болезням Симановский, чертыхаясь через каждые два слова, запирал меня недели на две, даже при маленькой простуде, а вечером приезжал наведаться, не ушла ли я из дому.

Квартира наполнялась цветами: даже и похворать тогда было приятно.

М.А. Стахович, заботясь о моем образовании, присылал книги, полезные для чтения, и, как был сам толстовец, то прислал мне все сочинения великого писателя. Я добросовестно и любовно прочла «Анну Каренину», «Войну и мир» и все художественные произведения.

Но после «Разрушения ада и восстановления его» читать Толстого я перестала.

После этого «Разрушения» исчез образ доброго художника, величественный, как вершина снеговой горы, и представился мне злой и желчный старик, который и Бога, и ангелов, и людей, и чертей – всех ругает, все у него злые. Один он справедлив, один он всем судья.

В этом впечатлении я боялась признаться Михаилу Александровичу, покуда он сам не спросил, продолжаю ли я чтение Толстого.

Тут я, извиняясь за невежество свое бабье, призналась, что разлюбила Толстого за его недобрую мудрость, за злой старческий ум. К изумлению моему, Михаил Александрович со мной согласился и сказал, что преклоняется перед Толстым-художником, но не признает в нем богослова.

Так я училась в те годы.

* * *

В.Д. Резников возил меня по всей России, но ее, матушку, разве измеришь?

В Царском Селе, в присутствии государя, я пела уже не раз.

Было приятно и легко петь государю. Своей простотой и ласковостью он обвораживал так, что во время его бесед со мной я переставала волноваться и, нарушая правила этикета, к смущению придворных, начинала даже жестикулировать.

Беседа затягивалась. Светские, пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу. Иной раз до меня долетал испуганный шепот:

– Как она с ним разговаривает!

Это относилось к моей жестикуляции. Но государь, по-видимому, не замечал моих дурных манер, и сам нет-нет, да и махнет рукой. Как горячо любил государь все русское. Я помню праздник в гусарском полку, большой концерт с участием В.И. Давыдова, Мичуриной, Лерского и манерных итальянцев. Я была простужена и пела из рук вон.

Государь заметил мое недомогание и, ободряя меня, передал через Алексея Орлова, что сегодня он особенно мной доволен. Я до слез была тронута его чуткостью, но знала, что пою ужасно. Государь долго аплодировал. Меня усадили за стол недалеко от него. Он ободряюще на меня посмотрел.

После меня на эстраду вышел итальянский дуэт. Государь взглянул в программу, посмотрел на итальянцев и затем на меня. Голоса итальянских певцов звенели чистым хрусталем, и казалось, что зал не вместит их. Но и после победного финала государь остался холоден и, похлопав раза два, отвернулся и снова посмотрел на меня, точно желал сказать глазами: «Теперь ты поняла, что хотя ты и безголосая, но поешь родные песни, а они пусть и голосистые, да чужие».

Государь не раз говорил мне о желании ее величества послушать меня. Но как-то все не удавалось.

В Ялте каждый год государыня устраивала трехдневный благотворительный базар, который всегда заканчивался концертом. В этом концерте я ежегодно участвовала, но государыня за дни базара так уставала, что на концерте никогда не присутствовала, а посещали его государь и все великие княжны.

* * *

Мой успех в Царском Селе кому-то не нравился. Я получала много анонимных писем.

Однажды, в день концерта в царскосельской ратуше, я получила письмо, в котором неизвестный «доброжелатель» уговаривал меня не ехать в Царское, так как на меня готовится

покушение.

Я передала письмо командиру конвоя. Он сказал мне по телефону, что все это глупости. Да и я думала то же.

Вечером, отправляясь в Царское Село, я села в карету у подъезда «Европейской» гостиницы и заметила, что за мной неотступно следует лихач с двумя господами в чиновничьих фуражках.

На Царскосельском вокзале двое этих чиновников не спускали с меня глаз. В вагоне они сели рядом со мной.

Тут я подумала, что это, верно, мои убийцы и есть. В Царском они проводили меня до ратуши, а потом куда-то исчезли. Чтобы не прослыть трусихой, я никому ничего не сказала.

Но каково же было мое волнение, когда, на обратном пути, снова замаячили два этих господина. Они следовали за мной до самой гостиницы. Когда я была наконец у себя, мне позвонил из Царского Села князь Трубецкой, осведомляясь, все ли благополучно.

Я сказала, что покуда жива, но какие-то разбойники за мной следили неотступно, а что они намерены делать дальше, не знаю. Князь посмеялся и успокоил меня, сказав, что эти чиновники были присланы не для убийства, а для моей охраны, из-за анонимного письма.

* * *

В 1911 году я подписала контракт с В.Д. Резниковым и обязалась спеть сорок концертов по всей России. Мое турне началось с половины сентября.

В эту поездку я должна была впервые, после многих лет, посетить свой родной Курск.

Ко дню моего приезда была приурочена свадьба моей старшей сестры Дунечки, которая до того не могла выйти за любимого жениха по своей бедности.

Родители жениха, кроме хорошей Дунечки, еще желали получить: шкаф, кровать, ротонду на лисьем меху с куньим воротником – обязательно с куньим, – да перину, да четыре подушки. Сверх того и комод, и сундук, да чтобы был огромадный.

Вот моя бедная Дунечка и работала неусыпно, чтобы доколотиться до свадьбы, до счастья.

Долго пришлось бы ей ждать, если бы не пришло счастье ко мне. Моя Дунечка, как в сказке, вдруг стала в Курске богатой невестой.

Все, что желали будущие свекор и свекровь, все явилось, как по щучьему веленью.

А сундук огромадный наполнился таким богатым добром, какого и не чаяла скопидомка-свекровушка. В Курск я приехала в шесть часов вечера, а в половине седьмого было назначено венчание.

На вокзале меня уже ждала карета, и я поехала прямо в Воскресенскую церковь.

От вокзала до церкви четыре версты. Мимо милых, издавна знакомых деревянных домов, мимо желтоватого строения с окнами в решетках, из-за которых смотрят на волю несчастные, – по знакомым улицам торопилась я к венчанию.

Вот, направо от Московских ворот, дорога на Коренную Пустынь.

По той самой дороге босоногая, восьмилетняя Дёжка впервые пришла с матушкой в город и тогда дивилась всему. А будто недавно все было. Будто только вчера скакала тут Дёжка на палке верхом, и кажется, так недавно радовалась Дёжка новым лаптям, которые сплел брат из мелко нарезанных лык, чтобы побаловать сестренку. А теперь та самая босая Дёжка в барской карете и в парчовых туфельках.

Я видела много городов, баловали меня в столицах, но такого волнения светлого, благодарного, как в моем родном Курске, не испытывала нигде.

Вблизи столь знакомых мест детства я ясно понимала, какое чудо свершилось со мной.

К церкви Воскресения пробраться было трудно. Толпа запрудила улицу, остановили трамваи.

Кто-то вручил мне букет. Я иду в храм, устланный коврами. Ярко сияет люстра. Льется хор.

Седовласый, добрый протодьякон, славный в Курске тем, что служит особливо торжественно, возгласил:

– О свышнем мире и о спасении душ наших…

Расширит грудь, как бы воздуху набирая, а голос его мощный гремит, и будто нет грому конца.

Прогремит протодьякон возглас и на меня покосится: не то одобрения ждет, не то разглядывает мою бриллиантовую брошь с двуглавым орлом, о которой в газетах писали, что я получила ее из кабинета его величества.

Кончилось венчание. Я обняла мою Дунечку, трепещущую от радости. Представительного В.Д. Резникова, который сопровождал меня, все приняли за министра и почтительно пред ним расступались.

При выходе на паперть гимназистка попросила у меня цветок

из букета на память. Я дала и мигом от моего букета остались одни корешки, да и они, далеко от меня, мелькали над головами.

Радостной была моя встреча с матушкой и братом Николаем у молодых. Жена Николая, Параша, так и топорщилась от удовольствия, а мать все гладила меня по лицу и ласково шептала:

– Дёжечка, Дёжка, краля моя, да скажи же ты мне, да неужто сам царь-батюшка слушал песни наши, мужицкие? И сподобил же, Милосердный, дождаться мне радости такой, счастье детей своих увидеть.

А за свадебным ужином помолодевшая от радости Акулина Фроловна поднялась с полной чаркой церковного вина и, поклонясь Дунечке и мне, сказала:

– Авдотья Васильевна, Надежда Васильевна, за ваше здоровье!

И до дна выпила чарочку.

Свадебный ужин проходил на городской лад, без песен, но Акулина Фроловна того не стерпела:

– Как же так, чтобы честной свадебный пир, да без песен был?

И молодо и лукаво запела моя матушка, глядя на молодых:

Ой, Василек Ягорушка,
Василек василечками
Ягорович снаряжен.
Во терем идет,
Золотым кольцом
Котится,
К Авдотьюшке голубчиком
Мечется.

Я помогла, как умела, петь моей матушке. Глядя на ее помолодевшее лицо, нельзя было и поверить, что ей уже восемьдесят лет. Что делает счастье!

С досадой и неохотой покинула я наше милое семейное торжество, но завтра концерт, и мне надобно поберечь силы, чтобы предстать с честью пред курянами.

* * *

Великолепный зал Курского дворянского собрания, как пчельник, гудит от толпы.

В артистическую то и дело стучатся, но ко мне никому не попасть.

В.Д. Резников всей своей министерской фигурой заслоняет

дверь и вежливо просит пожаловать, но только по окончании концерта. Во время концерта ни телеграмм, ни писем, а тем более посетителей он не допускал.

А я не отходила от зеркала и так прихорашивалась, что горничная заметила:

– Уж так вы хорошо выглядите, словно к венцу.

Но мне все казалось, что я не так хороша, и сердце сжималось, – ну, право, как у невесты.

Для кого же готовила себя?

Да для нее, матушки милой, Акулины Фроловны. Она еще не видела меня на эстраде. Ее я порадовать желала. Ей петь буду сегодня, ей одной.

С нетерпением я ждала звонка. Скорей бы выйти. И вышла. Зал загремел от рукоплесканий.

Я нашла родное, побледневшее от волнения лицо моей старушки во втором ряду.

Я поклонилась публике направо и налево, а матушке моей поклонилась ниже всех и в особицу.

Она заметила, она поняла, заулыбалась и привстала и в свой черед поклонилась мне.

Повернулись все головы в сторону моей матушки. По зале пронесся шепот:

– Это ее мать, мать.

И еще сильнее загремел зал от рукоплесканий. И казалось мне, что в зале все до одного человека мои друзья, а сгорбленная, повязанная темным платком старушка-крестьянка была мне дороже всех и в этом зале, и во всем свете.

За всю свою долгую суровую жизнь она впервые была в таком парадном зале, шумящем нарядной толпой. Она даже не знала, что рукоплескание это – приветствие. Впервые она слышала их, но знала по истовой крестьянской учтивости, что на поклоны надобно отвечать поклонами, потому-то встала и раскланялась со мной при всем честном народе.

В тот вечер я пела, рассказывала свои песни так, словно вела душевную беседу с дорогим другом, открывая ему свои горести и радости.

В антракте сам губернатор подошел к матери и поздравил ее с успехом дочери. Разные высокопоставленные лица Курска оказали ей столько внимания, что Акулина Фроловна шепнула Дунечке увести ее домой.

А на другой день у меня было приятное утро: ко мне приходили винниковские земляки, рассказывали ново-сти деревенские, до которых я была большая охотница. Мой концерт им понравился. По их словам, я здорово разделала «комариков».

– Чисто по-нашему, по-деревенски.

Не меньше песен им понравился и мой наряд:

– Так и сияла вся, а серьги и жарелки[32] на шее, как молонья, сверкали. Загляденье.

Но, странно сказать, вовсе не понравился землякам особо выписанный из Москвы для моего курского вечера виртуоз на цитре, профессор Иодко.

Винниковские земляки уверяли, что «эфтот барин с бородкой и в черной кацавейке с хвостиками позади, сидел на стуле, ровно козел, а скрипел – чисто немазаная телега».

– И до того скрипел, аж невмоготу.

Мне не удалось их убедить, какой это чудесный инструмент и какой искусный музыкант профессор Иодко. Земляки уперлись на своем, что пастух Давыдушка, глухой, «на дудке куда сурьезнее высвистывает, а про гармониста Ваньку Юдича и говорить неча. Тот, как заиграе, суставы ходором ходят».

Трудно было спорить с таким убедительным примером. Это не шутка, когда до суставов дело доходит и когда их обладатель, выбивая огненную дробь под лихую Ванькину гармонь, тряхнет головой, заломит шапку на затылок, прискажет:

Раздергало тибе,
Раздергало тибе…

Да как гикнет, да и доскажет ногами:

Как закипела его кровь,
Как все ходит ходором
– Ходи, хата, ходи, печь,
Хозяину негде лечь.
На печи горячо,
На лавочке узко.

И впрямь, «кто устоит, кто не захмелеет»? Когда уходили мои винниковские гости, шумно прощаясь со мной, в дверях показался мой брат Николай, а за ним веснушчатое, сердитое лицо его жены Параши.

По ее воинственному виду можно было догадаться, что она бранит Николая еще с дома, а теперь доругивает:

– Ужо достанется тебе, родимцу бесстыжему!

Николай вошел с картузом в руках, усиленно приглаживая и без того тщательно расчесанную голову.

Его нос блестел от пота, а волосы были мокрыми от воды.

Серые глаза виновато мне улыбнулись.

– Что, Никола, Параша, верно, тебя холодной водой поливала? – сказала я.

– Так поливала, что чуть не захлебнулся, а теперь все грызет, неотвязная. А дома мать и Дуня на меня наступали, думал, побьют. Говорят, что я тебя на весь Курск осрамил.

– Ну ничего, Никола, не бойся. Если они на тебя втроем напали, я заступлюсь. Что ты набедокурил, за что тебе такую войну объявили?

– Я расскажу, – подскочила Параша, не позволив ему рта раскрыть.

И тут рассказала Параша, какую Николай, родимец его надсади, страмотовищу учинил: спервоначалу на Дуниной свадьбе так напился, что под столом спал, поутру совестно и в глаза людям смотреть.

Николай не выдержал и крякнул:

– Вот вредная баба!

– Ну, а вчера, – продолжала вредная баба, – с утра княжой[33] справляли и опохмелялись до вечера. Пьян он был до бесчувствия, а про твой концерт вспомнил. И супостат его знает, как до того [дома] дошел, где ты пела. К дверям подошел, его городовые не пускают, а он их хамами выругал.

– Не хамами, а барбосами, – поправил Николай.

– Вот какой озорной, за такие слова его в кутузку посадить следовало.

– Да не по-твоему вышло, – силился Николай вступить в спор.

– А когда городовые ему сказали, что в залу его не пустят, что для такой публики билеты все проданы, он как вдарит себя в грудь – как нету билетов, я, Николай Васильевич Винников, я брат Плевицкой и желаю слушать, как моя сестра песни поет. Тут околоточный подошел и уговаривать стал, что, мол, нехорошо в этаком расстроенном виде в зал ходить и сестрице неприятности делать.

А он все куражится и так в дверях нашумел, что сам полицмейстер пришел, да заместо того, чтобы его, бесстыжего, в участок отправить, говорит околоточному: «Вы, говорит, посадите господина Винникова в мой экипаж и покажите ему город Курск. Да на мой счет и угощайте его, сколько его душенька примет, а я концерт слушать пойду». Вот они и гуляли всю ночь. Только-только домой заявился и околоточный с ним, такой же видно, пьянчуга.

– По служебным, – говорит, – обстоятельствам все в порядке, и Николая Васильевича к месту доставил.

К месту доставил!

– А ночевал где? – вдруг подступила Параша к Николаю.

– Вот лютая баба, да уйми ты, Надя, ее, – взмолился Николай. – Пристала, будто я кого обокрал. А ночевал я тут же, в этой самой гостинице, наверху. Господин полицмейстер приказал околоточному, чтобы, значит, денег не жалел, ну он и возил меня, где лучше. А что пьян был, так от радости: Дуню замуж выдавал, сестра Надя приехала. Как тут не выпить.

Приход губернатора прервал их семейный спор. Параша стремительно спряталась в мою спальню, утащив за собой Николая. Губернатор приехал благодарить меня за посещение Курска и взял слово, что я приеду на концерт георгиевских кавалеров. Я слово дала, потому что и цель прекрасная, и приятно побывать в родных местах.

Губернатор ушел, и Параша выбралась из-за ширмы и только стала разбирать по косточкам внешность губернатора, как доложили о приходе полицмейстера.

Словно гром ударил: Параша, ни жива ни мертва, бросилась за ширмы. Ей казалось, что для Николая настал час расплаты. А полицмейстер приехал только для того, чтобы извиниться предо мной, что не пустил брата на концерт.

Я его поблагодарила за это и нашла, что он поступил и мудро и гостеприимно.

Беседуя с ним, я едва удерживала смех, зная, как трепещет за ширмами вчерашний буян.

Как только закрылась за полицмейстером дверь, вышла Параша. Она была свидетельницей моего разговора с таким важным начальством и до того прониклась ко мне уважением, что стала называть меня на «вы».

– Испужал меня до страсти, – говорила Параша, – за Миколаем, думала, пришел.

– Под кровать, дура, вздумала меня прятать, – жаловался Николай.

Я посоветовала им больше не ссориться.

– Все хорошо, что хорошо кончается, – сказала я.

– Дыть ежели ты не серчаешь, стало быть, все и хорошо, – согласился брат.

Я спешила в монастырь к моим старым наставницам, где ждали меня мать и сестра с мужем. Параша помогла моим сборам. Я попросила ее зажечь в спальне свет.

– А серники[34] где лежат? – спросила она.

– Серников не нужно.

– А как же без серников огонь вздую? – усомнилась Параша.

– Поверни ту штучку, – указала я на штепсель, – и люстра загорится.

Она посмотрела на меня с недоверием, думая, что я шучу. Потом с опаской подошла к выключателю и, не решаясь за него взяться, проговорила:

– Неужто правда, если я поверну этакой крантик, огонь загорится?

Тут же быстро повернула, в страхе отскочила и остолбенела пред зажженной люстрой.

– Нечистая сила, Господи Сусе Христе! – Параша, крестясь, отбежала в другой угол.

– Нашла нечистую силу! – язвил Николай. – Тут наука и электричество, а бабе все один черт.

* * *

Выйдя из гостиницы без Николая и Параши, я скоро была у Святых ворот монастыря.

Я быстро поднялась по давно знакомой лестнице, остановилась у чуть приоткрытой двери и сказала:

– Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

– Аминь, – ответил старческий голос, и зашелестели ко мне навстречу мягкие, поспешные шаги.

Сердце мое забилось, я склонила голову, принимая благословение. Белые, тонкие руки монахини нежно обняли меня.

– Здравствуй, Надичка, хорошая, вот и дождались тебя. Спаси тебя, Господи, что нас не забыла, – сквозь слезы говорила матушка Клеопатра.

– Ах ты, наш Паучок милый! – вторила ей матушка Конкордия, крепко обнимая меня.

За столом, на диване, сидела моя мать и утирала умиленные слезы. А старушки хлопотали:

– Ну садись, Надичка, с чайком тебя ждали. Самовар искипелся весь. Уж Акулюша два раза угольков подбрасывала.

– Нет, не сяду, покуда всего не осмотрю.

И побежала я по всем кельям.

Вот диван, на котором спит матушка Конкордия, он же ей и сундук заменяет.

Вот посреди кельи пяльцы с натянутым одеялом. Сколько вечеров просиживала за этими пяльцами монастырка Дёжка, стегая нарядные атласные одеяла! Бывало, работаем мы и распеваем псалмы про «юного отшельника», про «птиц, певцов поднебесных, что своему Господу славу поют», и про Назарея:

Белы ризы златотканы,

Назарею тому даны.

Как тихо и чисто льются наши девичьи голоса! Подпевает матушка Конкордия, трудясь над украшением образов. В раскрытые двери кельи доносятся тихие голоса матушки Клеопатры и матушки Ефимии, вторят старые монашки тихому хору молоденьких послушниц. И льются, льются блаженные песни, и ясно на душе, и сердце наполнено любовью чистой и верой.

Как тогда быстро бежало время в труде и псалмах и как спорилась работа в наших молодых руках!

– А почему пуста келья матушки Ефимии? – очнулась я от воспоминаний на пороге одной кельи.

– В богадельне теперь живет, – ответила мне хроменькая Даша, сестра Конкордии. – Ослепла, состарилась, бедная.

– А где Поля, где Дуня-золотошвейка? – забрасывала я вопросами Дашу.

Она, крестясь, отвечала:

– Умерла Поля, Царство ей Божие. А Дуня ушла из монастыря. Замуж вышла. Такая же прыткая была, как ты.

Старая Даша улыбнулась и погрозила мне:

– Ты хоть недолгонько была в обители, а она-то пятнадцать лет и скуфью уже носила, а вот, вишь ты, искушение какое.

Я обошла все обительские уголки, даже на чердак поднялась и посмотрела на Курск в слуховое окно. В дни юности смотрела я оттуда на жизнь мирскую, когда были заперты монастырские ворота.

В келье матушки Клеопатры весело шумел начищенный самовар, а стол, у которого хлопотала краснощекая Акулюша, был накрыт белоснежной скатертью и уставлен вазочками с разными вареньями да кренделями.

Всего отведать просили гостеприимные хозяева, усадив меня на твердый деревянный диван.

И заворковали вокруг меня три дорогие старушки и забаюкали своей ласковой беседой, а я прилегла, свернувшись клубочком, на плечо матери и почувствовала себя забалованной маленькой Дёжкой.

И казался мне далеким тот шумный мир, из которого я пришла сюда. Далеко все овации, почитатели, поклонники, любопытные, весь утомительный хмель эстрады.

Здесь по-прежнему пред большим киотом трепетно, как дыхание молитвы, теплится неугасимая лампада. По-прежнему с темного киота глядят на меня кроткие, светлые очи Девы

Пречистой.

Сколько горячих молитв пред чудным образом Приснодевы вознесла моя юная душа!

– Дай кротости, смирения, укрепи меня, слабую, уразуми неразумную. О Всепетая! – молилась тогда на коленях маленькая послушница Дёжка.

– А я, по милости Твоей, хорошая буду, хорошая, – обещала я тогда Матери Господа и клала поклоны, счет которым знает вот этот разостланный во всю келью самодельный ковер с цветами по черному полю.

Мне казалось тогда, что ласково смотрят на меня святые очи пресветлого лика, и как ликовало мое сердце, готовое на подвиг. А теперь я пришла из земной юдоли, и утратила чистоту юности, и молиться так не умею, как молилась здесь раба Божия Надежда.

Душа затосковала о прежнем, но настоящее зовет, зовет, и я благодарила в душе Матерь Божию за мой новый, украшенный песней, волнующий, тяжкий, но радостный путь.

За чаем мы вспоминали о моей особой любви к иконам, которые были увиты золотым виноградом, выбитым на песочной подушечке искусной рукой матушки Конкордии. В базарные дни, когда меня посылали продавать в город иконы, я носила только убранные виноградом, а украшенные бумажными цветами носила Акулюша.

Бывали дни, когда я продавала по несколько икон и, довольная удачей, относила деньги матушке, зная, как ей всегда были надобны деньги: то картошка вся вышла, то бураков уже нет. Мне всегда хотелось продать иконы, но когда деревенские бабы окружали меня, любуясь образом, я чистосердечно признавалась, что матушка приказала мне просить за образ восемьдесят копеек, а если не дадут, то и за шесть гривен отдать.

– Купите, тетушка, – убеждала я покупательницу. – Образ прекрасный, а виноград, сами видите, какой, к тому же матушке деньги надобны. А я за вас помолюсь.

И, продав образ, радостно спешила в обитель. Отдавала там деньги матушке Конкордии, отбивала обещанные поклоны за тетушку-покупательницу, брала новый образ с виноградом и снова спешила на курский базар.

Еще многое мы вспоминали за нашей беседой в тихой келье монастырской. И в тот же день, напутствуемая добрыми пожеланиями, молитвами наставниц и любовными слезами матери, я покинула Курск.

С сердцем, полным добрых чувств, словно готовая мир обласкать, начала я странствовать по родным просторам и городам, где давно меня ждали в гости.

* * *

В 1911 году осуществилась моя заветная мечта: Мороскин лес, по краю моего родного села, куда я в детстве, на Троицу, бегала под березку заплетать венки и кумиться с Машуткой, стал моей собственностью.

К четырем десятинам леса прилегали двадцать десятин пахоты, и там, где пахота подходит к лесу полукруглой лужайкой, я начала строить дом-терем из красного леса, по чертежам моего друга В.И. Кардо-Сысоева.

Моя усадьба граничила с имением М.И. Рышковой, и мои северные окна выходили на чудесную поляну Рышковых, где сочная и буйная трава и цветы на ней были так разнообразны и красивы, что соблазняли нарушить заповедь – не укради.

Словом сказать, это была та самая поляна, на которой дед Пармён, сторживший сенокос барыни Рышковой, не раз собирался нам, деревенским девчонкам, ноги дрекольем переломать, чтобы неповадно было сено топтать.

А вверх по пригорку, на укосы, тянулась стежка, которая вела прямо в цветущий шестидесятинный сад моей соседки М.И. Рышковой.

В то время, когда на моей лужайке, помолясь Богу, застучали плотники топорами, а с вокзала обозы подвозили красный лес из Ярославской губернии, Рышкова уже не жила в своем барском доме, за прудом, у плотины, а поселилась в саду, в двух небольших домиках, под соломенной крышей.

В одном жила сама с пятью дочерьми, а другой сдала мне внаем на летнее время.

Марья Ивановна была женщина исключительной доброты. Ее святая доброта и была причиной тому, что после смерти мужа она оказалась в этом домике, под соломенной крышей. Но горбатого одна могила исправит: просители, по старой памяти, и теперь осаждали ее. Она ни в чем им не могла отказать и отдавала даже то, что сама где-нибудь одолжила.

– Хочешь писклятины, садись! – приглашала она пригорюнившуюся бабу-просительницу, которая заявлялась во время обеда.

– Ешь, а это с собой возьми для своих сопатых! – покрикивала Марья Ивановна и совала бабе сверток с пирожками.

Продолговатое, с большой бородавкой на верхней губе, барское лицо Марьи Ивановны почти никогда не улыбалось, а между тем я редко встречала такой веселый добрый ум, как у нее. Без тени улыбки она умела рассказывать такие смешные истории, что мы просто изнемогали от смеха, а Марья Ивановна строго

удивлялась: «И чего вы смеетесь?»

Старшей из ее пяти дочерей было уже за сорок, младшей – восемнадцать. Все они были хорошо воспитанные, прекрасные русские барышни.

В таком милом женском соседстве я и проводила первое лето в родном Винникове.

Домик не отличался удобствами, но окружающее своей прелестью искупало все.

* * *

А до летних отдыхов в Винникове я после продолжительных концертных поездок с В.Д. Резниковым возвращалась в Москву уставшей, без сил. Я теряла в весе десять-пятнадцать фунтов и приводила в отчаяние домашних отсутствием аппетита.

Но отдохнуть в московской квартире было трудно. Едва узнавали из газет о моем возвращении, с утра начинались телефонные звонки и все просьбы, просьбы повидаться, и обязательно лично, и обязательно по важному делу. Я уже знала эти дела, но все же принимала просителей. Мои друзья в дни приезда не звонили, но напоминали о себе цветами. Когда друзья советовали мне меньше уделять внимания телефонным и письменным просьбам, я огорчалась: как они не понимают, что быть счастливой, не поделясь счастьем с другими, грешно.

Потом я разобралась, что можно быть доброй, но нельзя быть глупой, а среди моих просителей я, наверно, прослыла набитой дурой. Ведь в мою московскую квартиру валом валили «артисты, трагики, певцы, танцоры», все «только что вышедшие из больницы», «инженеры», даже седовласый в засаленной рясе «отец» Николай.

Пришел ко мне «отец», достал из кармана сухую, серую просфору и, подавая мне, просил помочь его «николаевскому приюту».

Я просфору взяла, пожертвовала пятьдесят рублей на приют, просила извинить, что больше дать не могу, и поцеловала ему руку. А он был самый настоящий жулик и вовсе не батюшка. Или приходит краснощекий, мордастый горный инженер в хорошо сшитом мундире – как такого не пустить в квартиру? Поведал мне инженер с дрожью в голосе, что его «административно высылают», а его жена – балерина – остается в Москве без куска хлеба. Даже назвал номера, где живет несчастная балерина.

Ну как ему не помочь, тем более что его не обыкновенно высылают, а спросить, что такое «административно», неудобно.

Извинилась и вручила ему пятьдесят рублей. А через три дня на Дмитровке встретила «инженера» с двумя, как говорится, шикарными дамами. Сам «инженер» был в бобровой шубе и шапке. Он вызывающе, нагло, посмотрел мне прямо в глаза и не узнал. Я даже заплакала от обиды, за оскорбление самых святых человеческих чувств и, рассердясь на всех попрошаек, тут же прогнала от себя оборвыша, который приставал ко мне с милостыней.

Тогда же я решила дома к телефону не подходить. Но тут позвонила Е.Н. Рощина-Инсарова, и я подошла к телефону.

– Извини, моя милая, что беспокою, – говорила Екатерина Николаевна, – но неотложно надо помочь одной бедной бабе. Я собрала кое-что, ты добавь что можешь. Я пришлю мальчика. До свидания, милая, заранее благодарю. Спешу в театр. – Рощина-Инсарова быстро повесила трубку.

Через минуту зазвонил опять телефон, и знакомый хриплый голос одного просителя «трагика» осведомился, был ли у меня отец Николай и сколько я ему пожертвовала. Я сказала сколько, и хриплый голос выбранил меня за скупость. Тут-то я и поняла, что отец Николай, трагик и инженер – шайка одна. Я немедленно позвонила в Малый театр и попросила к телефону Е.Н. Рощину-Инсарову. И от Екатерины Николаевны узнала, что она звонить и не думала и что ее именем неуловимые жулики пол-Москвы обобрали.

Мы посоветовались и решили поймать мнимую «Рощину-Инсарову» в ту минуту, когда придет за конвертом мальчик.

Екатерина Николаевна позвонила к полицмейстеру Модлю, после чего на мою квартиру были присланы сыщики. Я из страха пред полицейскими чинами ушла в театр, а в мое отсутствие поймали пришедшего за конвертом парнишку, который оказался переодетой женщиной. Благодаря ей изловили целую шайку, которая обделывала не только легковерных москвичей, но и петербуржцев.

Долго после того мои близкие надо мною посмеивались, а я божилась, что сердце мое окаменело и что теперь я никому гроша не подам.

«Надо в людях уметь разбираться», – советовали мне друзья. И я старалась разбираться. Бывало, иду по улице, и вглядываюсь в лица встречных, и разбираюсь, какие из них жулики, а какие люди честные.

И все больше выходило – честные. А попрошайки-мальчишки, синие от холода, дрожащие, а старушки с муфточками, сшитыми из тряпочек, нищенки, которые молча и печально заглядывали в глаза, топчась на снегу и трясясь от старости и от холода, – как

ни разбирайся, но и каменное сердце не выдержит.

Так досаждали мне в Москве просители, но, признаюсь теперь, досаждали и обеды.

Сколько было бы обид, если б я уехала из Москвы, не отведав хлеба-соли у многочисленных моих друзей.

Эти пышные обеды и банкеты отбирали у меня последние силенки, которые еще оставались от концертных поездок. А жестокие хлебосолы к тому же и песен просили:

– Ну спойте, дорогая, ну что вам стоит.

Сказавший такие слова сразу становился для меня неприятным человеком. Им я даже объяснять не желала, что, когда бы петь мне «ничего не стоило», я не теряла бы по пятнадцати фунтов в весе и не трясла бы меня за кулисами лихорадка, и не пила бы я бездну успокоительных лекарств, и, наконец, не мучилась бы с расстроенными нервами.

Песни петь, их любить и выносить любимое, затаенное и душевное на суд чужой толпы, стало быть, что-нибудь да стоит. А когда толпа полюбила тебя, возвела на высоту за песни, то куда как надобны силы, чтобы устоять наверху, – ведь падать с высоты страшно, а толпа от своих любимцев требует много, но прощает мало, ничего не прощает.

Вот для того-то, чтобы сил даром не бросать, я рвалась из Москвы к себе, в село Винниково, на простор.

Там от цветущих садов веет райским дыханием, там вечерними зорями убаюкивает переливами родной соловей, а поутру разбудит ласковая мать.

* * *

И вот я в желанном Винникове, в маленьком доме на горе, утонувшем в белой пене цветущего сада.

Что за чудесная была пора! Глядишь и не наглядишься, дышишь и не надышишься.

Кругом все звенит, все ликует: похвалой несутся к Творцу в небеса благодарных пернатых певцов голоса. Глянешь направо, там лес зеленый, налево – хлебные поля, а дальше пруд как зеркало сверкает, по небу белые ангелы плывут, под ногами ковер из трав и цветиков любимых, из-за вершин лесных мне храм виднеется родной, и крест сияет золотой, а в сердце молодость и песня.

Потекли приятные летние дни. В Мороскине для отдыха, прогулок и шалостей всего было вдоволь. Со мной в домике поселилась мать, и в нем стало еще уютнее.

У Рышковых была купальня. Какие веселые, шумные купанья были у нас по утрам!

И что за прелесть эти тесовые, с белой решеточкой, купальни, когда они, как в зеркале, отражаются в тихой воде. А зеленая плоскодонка на веревочном причале у берегового пня, а опушка кудрявых ракит над прудом, а всплески сребристых рыбьих стаек! Разве это не тихая радость?

Для верховых прогулок у меня был иноходец Хаз-Булат, с Кавказа. Но Хаз-Булат носил меня недолго. Однажды он вез меня за почтой на станцию Орешково и встретил на выгоне четвероногую буланую даму. Его кавказская кровь закипела, он вмиг выбросил меня из седла и понесся к своей избраннице, брыкнув в мою сторону задними ногами.

Я на него очень обиделась, и не за то, что при полете ушиблась, не за то, что разорвала чесучовую юбку, а за то, что он осрамил меня при всей честной деревне.

В наказание его запрягли в тарантас, чтобы успокоить. Мой дом еще строили, а у брата на месте маленькой, покосившейся избенки с бороной на ветхой крыше, уже стоял под железной зеленой крышей белый дом, обнесенный тесовым забором, с высокими резными воротами, крашенными серой краской. А напротив дома – новый амбар, а на гумне – большая рига. Николай так обрадовался своему богатству, что на радостях напился и в новом романовском полушубке, с Потапом Антонычем в обнимку, в грязной канаве под дождем ночевал. После того, от стыда, он не показывался у меня недели две.

А Потап Антоныч приходил чаек пить и говорил разные подходящие поговорки о Николае, вроде того, что «конь о четырех ногах и то спотыкается».

После обедни по воскресеньям я навещала деревенских друзей. Вспоминала с ними про старое и узнавала новости. Сколько перемен в селе: другой священник, другой учитель, а барин Яровицкий стал церковным старостой.

Помню, в детстве, я боялась его. Жил барин один в своем имении по ту сторону пруда, на горе, и мне казалось тогда, что за его домом кончается край неба и что дом, как в стену, упирается там в небо.

Уже в то время говорили, что барину сто лет, и как я дивилась, что он еще жив.

А Машутка, подруга моя неизменная, теперь всегда с подвязанной щекой ходит.

– Зубы замучили, – жалуется мне. – А слышать еще хуже стала.

Ходит теперь моя Машутка в темных платьях, как

старушечка, а ведь мы с ней однолетки. За юбку Машутки держатся детишки. Один, два, три.

– Сколько их еще у тебя? – спрашиваю.

– Пять штук, – и застенчиво улыбается и путается, то Надёжей меня назовет, то Надей Васильевной.

Зову ее к себе и советую называть меня так же, как раньше, Надёжей.

А чаще других я бываю у брата и у Потапа Антоныча, благо что его хата рядом.

Потап Антоныч оженил внука Семена и уже правнучка есть. Настя, жена Семена, статная и румяная молодайка со смелой улыбкой, а зубы что кипень. И когда несет она коромысло с тяжелыми ведрами, будто у нее перышко на плечах. А поступь у Насти под стать царице.

Потап Антоныч не наглядится на нее:

– Во какая, во святой час, молодайка у меня стала, а то чуть не кончилась.

Он мне рассказал, что Настю под венцом испортили и в один год она высохла. Доктора не помогли, и повезли Настю за тридцать верст от Винникова к знахарке. Та и вылечила ее, выгнала порчу. Три ночи знахарка шептала на воду и молилась. А как выпрыгнул нечистый, ахнула Настя и без памяти грохнулась оземь, но поутру встала веселая и здоровая.

– А теперь, вишь, какая краля у меня ходит, – радовался Потап Антоныч.

Вокруг дедушки Потапа шумит теперь детвора. Так много ребят, что я и не знаю, какие внуки Потапа, а какие мои племянники.

– Сколько у тебя, Николай? – спрашиваю я брата. – Я счет им потеряла.

– Да столько же, сколько у отца Николая. Я с ним наперегонки иду, – шутит брат. – Своей Параше я настрого приказал от попадьи не отставать, а она, дура, в один год возьми да отстань. Хорошо, что на другой год двойню родила. Теперь сравнялись. По девяти штук у нас. Поровну.

Двойня Николая была славными молодцами. Похожи друг на друга так, что если бы не разные ленточки на рубашках, и различить нельзя, неразлучны, любят друг друга. Если обидеть одного, другой плачет, будто и ему обида. Если спросить одного, как зовут, сразу отвечают два голоса:

– Я Жахарь. Я Штепан.

Проведав, что у меня можно полакомиться, детишки повадились ко мне. Мальчонки за конфетками, а девочки и за конфетками, и за лентами для косичек.

Из любви к ребятам я с удовольствием приняла на себя попечительство в нашей церковно-приходской школе. Мне было приятно что-либо сделать для односельчан. Когда на Морозовском околотке сгорело семь хат и заголосили погорельцы, высохли их слезы после моего концерта, данного в Курске, им в помощь.

Разве много надобно мужику, чтобы был он счастлив? Есть у него изба новая, корова да лошадь, вот и счастлив мужик.

* * *

В Винникове с особым нетерпением ждала я свой любимый зеленый праздник – Троицу.

Прошло много лет с той поры, как маленькая Дёжка проводила здесь Троицын день.

И вот загудел с нашей старой колокольни новый колокол. Исполнилось давнишнее желание прихожан сменить дребезжащий колокол на новый, и мне посчастливилось осуществить эту мечту мужиков.

Хорошо в нашей старой церкви. Все тут по-прежнему. И я стою на том же месте, где всегда стояла с матерью, у правого клироса, против Авраама, приносящего в жертву своего сына. А золотой над ним луч, который некогда грозил упасть, теперь, по милости нового ктитора, в исправности.

Внизу, под Авраамом жертвоприносящим, большой образ Троицы, в тяжелом серебре. Сегодня, как и тогда, он утопает в цветах, и жарко пылает пред ним костер мужицких свечей. Что-то детское светится в глазах мужиков, когда они ставят свечи и молятся с такой верой, будто кусочек своего сердца зажигают пред образом Троицы.

Нигде я не чувствовала этот праздник так ярко и полно, как в Винникове. Тут разливается всюду зеленая Троица, светится в глазах стариков и молодых, пахнет ситцем, кумачом, дегтем, алеет в лентах девичьей косы, в венках на детских головенках, шумит в березах белоствольных, в связках сорванных пионов. Здесь всюду праздник, и ликует весь простор зеленый, ликует хоровод веселый, звенит лихой каблук саянки в паневе-кичке золотой, и пляшут бисерные кисти над черной бровью молодайки. Вот где праздник, вот где ликованье.

Гостеприимные винниковцы угощали меня молодым красным квасом, потчевали лапшой и солониной, а тем временем молодой художник Д. Мельников, гостивший у меня, не пивши и не евши, целый день носился с холстами, набрасывая этюды. Эдмунд

Мячеславович Плевицкий любовался плясками и хороводами «с точки зрения балетмейстера», а мой аккомпаниатор А.М. Зарема, прикрывши лысину соломенной шляпой, приударял за молодыми саянками, одаривая их пряниками, орехами и всякими сластями.

Вечером мы собирались на маленькой нашей террасе и делились впечатлениями. Все были в восторге, и мое винниковское сердце наполнялось гордостью.

* * *

Однажды моя матушка разглядывала этюды Д. Мельникова, и попалась ей на глаза выпавшая из папки карикатура, сделанная на меня Мельниковым для «Солнца России».

Мать рассматривала ее долго, потом откашлялась и исподволь стала пенять художнику:

– Ты, деточка, Митя, труд любишь, што и говорить, все глазки портишь, без устали на все прижмурившись глядишь, а путного из тебя ничего не выйдет, как я посмотрю. Ведь Надичка у меня краля, а ты из нее страху подобно, что сотворил. Ты лучше людей перестань мулевать, а снимай лошадей. Ты хорошо их выписываешь. Вон, как живые по пари не ходят.

Мать указала на стену, где висело полотно Мельникова. Я подобрала его карикатуру и засмеялась.

– А ты еще смеешься, – рассердилась на меня мать. – Ведь на этакую картину и глядеть тошно, а вам смех.

Мы объяснили, что это шутка, и мать немного успокоилась, но все же советовала художнику лучше писать «всурьез, а портить личности даже в шутку не след».

Отшумел веселый сенокос. Помню, в августе мне прислали граммофон. Бабы, видевшие его впервые, пришли в смятение, заглядывали в трубу, бегали вокруг и не знали, танцевать ли им под эту штуку, в которую «должно, сам лукавый забрался», или, перекрестясь, бежать без оглядки. Но где лукавый замешан, там и пляскам начало. Когда граммофон огласил мой милый лес Мороскин, в сумерки из деревни потянулись парни и девки, и старики от них не отставали. Располагалась также под дубками, березочками и винниковская интеллигенция: учитель, псаломщик, даже голова нашего нелюдима-дьякона иногда выглядывала где-нибудь из лопухов.

Гуляли к нам и поп с красивой попадьей, больше по воскресным дням, так как отец Николай, хотя и академик[35] был, а тянул свою лямку, как все сельские священники: сам пахал, сам сеял, и косил, и молотил, все сам, без работника, и никогда не

унывал. Закрутит, бывало, косу, подоткнет полы подрясника, вскочит на турник и такую мельницу завертит, что его старший сын угнаться не мог.

Отец Николай нравился мне тем, что был прямой человек. Все, что думал, то в глаза говорил.

Помню, как он бранил меня за то, что я во второй раз замуж собралась. Даже года на два меня состарить пы-тался и уверял, будто метрику мою читал. За меня тогда мать заступилась.

Мороскин лес, некогда царство деда Пармёна, теперь стал самым оживленным местом в селе. Тихими летними вечерами, когда все благоухало и золотая полоса зари еще радовала глаз, а далекие голоса казались в ясном воздухе близкими, я выходила на свою террасу и благодарно смотрела на Божий мир, который казался мне великим храмом Господним, где все служит Творцу, где каждый цветок, каждый листик шлет Ему ввысь свои свежие молитвы.

По тихой вечерней заре, через пруд, через сад, то смех веселый долетит, то пес залает, то дальняя песня, а от Каменевской рощи, там, где поповские загоны, льется милый звук свирели. Блаженные мои вечера деревенские, в сердце чистая тишина и молитва.

На ступеньках, у крыльца, в кругу внучат, откушав чаю, ведут беседу мать моя и ее друг Потап Антоныч. Разговор у них всегда начинается с хозяйства: про урожай, про скотину и про погоду. Потом расскажут, что им снилось, так и подойдут к любимой беседе: мать про жития святых, а Потап Антоныч, во всякий час со молитовкой, о проделках всякой нечисти лукавой; готовы хотя бы всю ночь толковать.

После того, как едва не погубили его Настю «порчей», все грозился Потап Антоныч подстеречь мучителей душ христианских да хлобыснуть осиновым колом, «чтобы дня три гузна почесывали». А грозил он больше всего ведьме Кузьминихе, которая «никак издохнуть не может, хоть ей за сто перевалило. Земля ее, стало, не принимает».

Эта самая Кузьминиха уже сколько раз у Потапа Антоныча из-под ног шмыгала, то кошкой прикинувшись, то собакой, а то свиньей, а встречалась – «раздери ее ястребы» – в разных местах: и около погоста, и около Никишкиного амбара, что недалеко от Кузьминихиной хаты. А раз у самой хаты собакой прикинулась.

– Ну, Антоныч, дак ето наш Рябчик был, – замечала мать.

– Нет, Хроловночка, Рябчик бы брехал, а ета, колотик, молчком шмыгнула.

– Да чего Рябчику на свово человека брехать? – настаивала мать, но Потап Антоныч не сдавался.

Он утверждал, что все «подъясельные, домовые, прудовые, подколесные, гноявые», кого ни возьми из чертенят – приятели Кузьминихи, и не кто иной, как она самая, из-под ног у него шмыгала.

– Ну уж, и попадись теперь она мне, – устрашающе потрясал он осиновым колом.

– Ты смотри, Антоныч, – предупреждала мать, – со страху Рябчика нашего не обидь, а то с испугу человек и всякую скотину за Кузьминиху может принять. Ты, Антоныч, послушай мене и замест осинового дрюка молитвы читай. Страх от человека отходит, когда читаешь «Да воскреснет Бог». Всякая нечисть от етой молитвы разбегается. Сказано в молитве: «Прогоняй бесы силою на тебе пропятого», вот какие слова великие. Я всю жизнь все со молитвой ночь о полночь ходила и ничего не боялась, без палки твоей осиновой. Молитва из огня-полымя вынимает.

Тут же мать для примера рассказывала про Марию Египетскую, как она из блудниц, по молитвам, святой венец прияла и как святые угоднички Божии от искушений дьявольских молитвами спасались. Лукавый-то все норовит искусить душу чистую-святую: куда доступ ему труден, туда его и тянет.

– Правильно, во святой час, – соглашался Антоныч. – «Он», прости Господи, не к ночи будь помянут, всюду пролезет, даже и в храм Божий.

Тут Потап Антоныч рассказывал про двух рогатых, которые забрались во храм в то время, как там служил обедню Святой Угодник. Рогатые уселись на карниз и стали записывать все грехи молящихся во храме, которых до того сами же соблазняли. Но когда у них воловья кожа, на которой писали, была вся исписана и места не хватало, они уперлись копытами в карниз и стали натягивать кожу, да так, что один рогатый с натуги угрешился. Святой Угодник, видевший все, улыбнулся. Тогда рогатые и его на воловью кожу записали.

– Вот, прости, Господи, какие шустрые, Угодника и то соблазнили, а нам, грешным, с ними и сладу нету, – сокрушенно вздыхал Потап Антоныч.

Помню, как мать от такого рассказа пришла в смятение, перекрестилась и плюнула.

– Прости, Господи, мою душу грешную, – зашептала она. – Лучше ты, Антоныч, мне таких страстей не рассказывай. Грех один.

– Нонче ужо поздно, а завтра, во святой час, расскажу, – поддразнивал Антоныч мать.

Внучата, любившие рассказы про ведьм, сидели тихо, не шевелясь. Они слушали бы еще деда и бабушку, но Потап

Антоныч, кряхтя, опираясь на осиновый кол, вставал и говорил, заслышав дальнюю песню из-за леса:

– Пора. Ребята ужо в ночное коней повели, а мы все калякаем. Прощевайте, Акулина Хроловна, до завтрева.

И пошел по тропиночке вниз, где скрипит журавель, где колодец стоит и кудрявая ракита над самой водой. Перешел в канавку, а там кошачья мята все в полон забрала. Вот повернул налево. Впереди внучата, а он, во святой час со молитовкой, сзади. Дорожка там хуже, поросла бурьяном, лопухами по грудь. Вот миновал дерничек, и межу Баглая, и черемухи куст, что весной расцветал и далеко белел духовитым шатром. «В том шатре кружевном много было хором, там соловушка мой по ночам пировал, звонкой песней хмельной мне уснуть не давал».

А потом напрямик, огородом пошел, конопляной межой и домой. Как знакома мне эта дорога!

* * *

В то лето я не покидала надолго свое тихое село. В Москве спела четыре концерта в «Эрмитаже»[36], а один на Сокольничьем кругу. Этот концерт, собравший десятитысячную толпу, памятен мне тем, что после него я стала до ужаса бояться толпы, которая «из любви к артисту» может его в порошок стереть. Тогда, после концерта, я долго замешкалась в уборной, окруженная близкими и знакомыми, среди которых были и журналисты, а между ними и румяный Н.Н. Шебуев в своем неизменном сером сюртуке и высоком сером цилиндре.

Никто и не подозревал, что огромная толпа терпеливо ожидает моего выхода.

Как только я показалась в дверях, ко мне ринулись за цветами девицы, и так стремительно, что я покорно выпустила из рук букет, его разнесли мигом, а меня толпа куда-то понесла. Я думала, что конец мой приходит, так меня теснили. Наконец молодежи удалось образовать вокруг меня цепь, и я могла передохнуть.

А мою свиту затерли. Мелькал где-то серый шебуевский цилиндр, толпа что-то ревела, люди забегали вперед, заглядывали мне в лицо, будто я чудовище невиданное. Кто-то истерически кричал, кто-то, надрываясь, взывал:

– Господи, успокойтесь, ведь это вторая Ходынка!

Каким-то чудом довели меня до автомобиля. Мне долго пришлось ждать затерявшихся друзей. Показалась Марья Германовна в самом жалком виде, она оправляла на голове какой-

то блин – еще недавно ее пышную шляпку – и бранилась, красная от волнения, размахивая руками.

– Дураки, сумасшедшие!

– Сидела бы дома, чем ругаться! – крикнул ей стоящий около меня почитатель. И как же он переконфузился, когда увидал, что она садится ко мне в машину.

При виде моей помятой, спешившей на помощь свиты мой страх сменился неудержимым смехом.

Я кланялась из автомобиля восторженным москвичам, а моя Маша, растрепанная толпою, с раздавленной картонкой, поправляла дрожащей рукой волосы и бормотала:

– Ужасти, какой мы имеем успех. Ужасти.

После такого «успеха» я всегда старалась тихонько уходить по окончании концерта.

Успех приятен, – в этом как не сознаться, – но и страшно попадать в толпу.

Толпу я очень люблю, но когда я стою на эстраде.

* * *

После московских концертов я пела еще на группах кавказских вод, а оттуда в родное село, где был уже готов мой новый дом-терем.

Снова тишина, и дышится легко, и куда приятнее наивные беседы милых старичков, чем жизнь в шумном Кисловодске. В деревенской тишине мысли чище и к Богу ближе. Но дома меня ожидала на этот раз печальная весть: умер отец Насти, невестки Потапа Антоныча.

Был моим любимцем Настин отец, добродушный и пригожий богатырь. Ему едва минуло сорок, и просто не верилось, что его уже нет. В три дня его не стало. Надсадился на порубке леса.

Я поехала на Богдановку поклониться усопшему и была не рада, так горевала над ним.

Когда я была в избе, где на лавке лежал усопший, с конца деревни донесся голос Насти, которая шла из Винникова на поклон-прощание к отцу.

Ее вели под руки, она металась, будто не зная, куда бежать от горя, и голосила впричет, пела горестно на те слова, какие только приходили к ней.

Когда ее ввели в избу, она протянула руки к лежащему и надрывно говорила:

– Родимый мой батюшка, что ж не вышел, не встретил, как прежде встречал свою Настьюшку? Аль рассердился, аль

прогневался ты на дочку свою, на любимую? Что ж нахмурился и лежишь-молчишь, не хочешь ты слова вымолвить? А бывалыча, ты говаривал, что на свете нет краше Настеньки! Что же молчишь, скажи слово, скажи…

Упала бедная Настя, затихла. Ее унесли. В избе стоял стон от слез, от горя, которому никто помочь не в силах. Эта Настина скорбная песня вечной разлуки рвала печалью мое сердце.

Как велика была ее любовь, как тяжела разлука, и какие мы слабые пред законом смерти!

* * *

Грустной вернулась я в мой новый дом. Я думала о том, как буду коротать там старость, когда она подойдет, как украшу там последние годы моей старушки.

Никто так не радовался переселению в терем, как моя матушка.

Впервые в жизни она имела собственный покой и в нем все по ее вкусу: кроме печки, еще большая лежанка, а на голубых стенах все картинки с житиями святых угодничков Божиих. Неугасимая лампада теплилась в углу пред чудесным «Молением о Чаше».

Мать даже помолодела от радости, и ноги ее быстрее забегали. Накинет шубку в один рукав, возьмет палку и так молодо на деревню зашагает. А я будто не вижу, что прячет она узелок под ненадетым рукавом. Я будто не замечаю, что она у меня таскает из буфета чай, сахар, печенье, из кладовки мыло и мед, а носит их то Ярмолихе, которая лежмя лежит десять лет, то бобылихе Алене Абельдеевой. Да мало их, что ли, на деревне, горемычных-то?

Пусть носит, пусть радуется, родная!

А с деревни вернется, сидит у себя и что-то напевает: не то из духовного, не то – «В Таганроге случилася беда». А то заложит руки за спину и по комнатам прохаживается: портьеру потрогает, добротна ли ткань, в клавишу пальцем ткнет и слушает, как звучит, и, точно малое дитя, улыбается своей шалости.

Присматриваясь к вещам, она давала им свои прозвища: камин назывался у нее «барыней», потому что для него требовались особые дрова. А часы с женской фигуркой назывались «барышней».

– Дёжечка, – доносилось из ее горницы, – спроси у барышни, который час.

Новый дом действительно казался ей сказочным теремом. Она любила смотреть на него издали и для этого своими руками

смастерила себе, у резной решетки, при главном въезде, скамеечку. Сидела и любовалась оттуда на дом. А обо мне думала, что ее Дёжка, обладательница таких хором, – несметная богачка. И точно, исполнялись Дёжкой все ее просьбы. Матери казалось, что она хитрее всех на этот счет может меня «обойти», и, встретив меня где-нибудь в саду, исподволь, умиленным голосом начинала:

– Дёжечка, что я тебе скажу, ты знаешь, какой каменевский поп старенький, одинокий: живет в караулке.

Я, конечно, знала, что каменевский поп старенький, но знала и то, что он беспросветный пьяница, да чтобы не огорчать мать, сочувственно выслушивала все беды старого попа: как мать встретила его под горой, и как хворь скрючила ему руки-ноги, а хворь, по его словам, надобно спиртом лечить, растираться, и как бы хорошо его, горемычного, приголубить, накормить-напоить, да рубликов двадцать пять ему и пожертвовать, а он-то помолится.

Скажи я, что старенький батя любит больше выпивать, чем молиться, что о своей душе он не думает, не то что о нашей, мать сокрушенно завздыхала бы с упреком, что я «пятняю душу гордынею и что вообче от богачества душа человека костенеет».

Поэтому я соглашалась на все.

И вскорости сидел у меня за столом в потрепанной рясе старый батя, с удовольствием пил рюмку за рюмкой и закусывал сардинками, подвинув коробку к себе. К концу обеда горничная Соня поставила рядом с его прибором вазу клюквенного киселя и отвернулась за сливками, а батя уже подвинул к себе вазу, радостно сказал:

– Вот это по моим зубам, – и принялся за кисель.

Соня растерянно смотрела на меня, не зная, что делать, не отнимать же кисель у бати, который всех нас оставил без сладкого.

– Кушайте, кушайте, батюшка, – потчевала его мать, а кто были за столом, скрывая улыбки, усиленно катали хлебные шарики.

Ни мать, ни ее гость никакой неловкости не замечали. После обеда батя, снабженный четвертной бумажкой и бутылочкой спирта для растирания, прощался с нами.

А скоро сидел батя в молодом вишняке, на солнышке. Бутылочка из-под спирта лежала в траве. Батя дремал. Очевидно, вместо натирания он принимал лекарство вовнутрь. Но мать никому не позволяла шутить.

– Вам бы, бесстыжим, все зубы скалить, а какой тут смех, ведь он сирота, что кукушечка одинокая. Избави, Господь, всякого от такой старости.

Уж если мать за кого заступится, у ней всегда найдутся справедливые слова.

Помню, кто-то из служивших при ней сказал, что мой пасечник взял себе моих отроившихся пчел.

Мать вознегодовала на доносчика: пасечник Юдай Парфеныч был с давних пор ее уважаемым кумом, к тому же умственный, почтенный мужик, который на чужое добро не позарится.

И чтобы посрамить доносчика, которому «на том свете за ябеду висеть на огненном крючке и неминуемо лизать горячие сковороды», немедля пошла к куму узнать, крал он у Дёжечки пчел аль нет.

Юдай Парфеныч снял казинетовый картуз и, глядя на небо, перекрестился.

– Приборотись я сам в пчалу, – сказал он, – если я хоть одну пчалу у Надежды Васильевны скрал.

– Вот как поклялся, – говорила мне позже мать, изображая Юдай Парфеныча, и советовала гнать ябедников-смутьянов, от которых одно беспокойство и душе вред. – Ябедники, слуги лукавого, – говорила она и после слова «лукавый» поспешно крестилась и шептала: – Господи, прости мою душу грешную за сквернословия мои.

* * *

Летом, когда я жила в Винникове, не было в селе ни одной свадьбы, на которой я не гуляла бы, и крестины редко без меня обходились.

С истинным удовольствием пировала я на свадьбах у своих односельчан. Там было искреннее радушие, там были бесхитростные речи, да какие мудрые подчас! А древние свадебные обряды так прекрасны, так чисты, что неудивительно их слышать рядом с молитвой.

Вот невеста, уже готовая к венцу, прощаясь с родителями, молится пред образами, кладет земные поклоны, а подружки в это время поют:

Ой, летели гуси-лебеди через двор.
Ударили золотым крылом о терем:
Не пора ли тебе, свет Марьюшка, с терема долой,
Не пора ли тебе, Ивановна, с высокого?
Что вам дело, гуси-лебеди, до того,
Есть у меня мой батюшка для того,
Как он велит, благословит, я пойду.

Невесту обводят с образом вокруг стола. Поют подружки:

Шло солнце по западью,
А Марья по застолью.

Их протяжная песня сменяется другой:

Ой, свет – ты моя, ой, свет – ты моя
Батюшкина воля,
Ой, свет – ты моя, ой, свет – ты моя
Матушкина нега.
Такой воли, такой неги у свекра не будет.

Кроме древней красоты обрядов, кроме крестьянского хлебосольства, есть еще одна привлекательная особенность деревенских свадеб: никогда не приходилось мне слышать там пошлых слов. Даже подвыпивший мужик там поет:

Соловей кукушечку уговаривал,
Молоденький рябую все сподманывал,
Полетим, кукушечка, во мой зелен сад,
Во моем садике гулять хорошо.

Даже и хмельная мужичья душа поет о чистоте утех матушки-земли. Как, однако, эту самую душу меняет город и фабрика. Лишь попадает туда мужик – не те песни, не тот и мужик.

У земли и душа чище, и тело крепче: по себе знаю. Как, бывало, приеду из города в деревню, становлюсь лучше, добрее.

Небесный деревенский простор будто заглядывал в душу, и ширилась она и светлела, прощала и любила.

Иной раз приеду измученная, а там меня встретит мать, век свой скоротавшая в деревне и от матери-земли взявшая силу и мудрость. Ласкою да умной поговоркою быстро вылечивала меня мать от городских хворей.

А как, бывало, пойдем с ней по полям, она сильнее меня окажется. На горку вбежит первая и, поджидая там, посмеивается: ей, мол, восемьдесят три, а она моложе, хотя мне и двадцать шесть. И знает мать каждую травинку, каждый цветок. Она полна жизни.

– Ты только послушай, – говорила она, останавливаясь над духовитой полосой бело-розовой гречихи, – как гудут пчелы-то. Это они с песнями, работники Божии трудятся, а мы, грешные, будем трудовые их свечи Господу зажигать и Ему просьбами докучать. С них бы нам пример-то брать, – вздыхала она.

А полоса гречихи действительно пела, и мать понимала пчелиную песню, она все понимала.

– У Господа все товары драгоценные, – говорила мать, указывая на золотистое просо. – Вишь, парчою золотой расстилается – хоть ризы шей на весь честной мир.

С полевой прогулки мы возвращались с охапками трав и цветов.

– Все целебные травы, все драгоценные товары, нерукотворенные дары Божьи, все для нас, неблагодарных, послано, – шептала мать, развешивая душистые пучки в своей горнице.

* * *

В феврале 1912 года московские профессора Ротт и Шервинский отослали меня на Ривьеру.

Там, в тихом Болье, у моря, я отдыхала, и, когда сухопарые англичанки бегали взапуски, чтобы еще похудеть, я не двигалась с балкона, чтобы прибавить в весе.

Голубое море то тихо, то бурно плескалось у самых окон, французы кормили меня салатами, я поправлялась, и полтора месяца пролетели. Пора и домой, но как уехать, не посетив Монте-Карло: оно совсем близко.

И вот я в святилище сумасшедших. Их там так много. Сидят за столами и все что-то пишут, высчитывают.

У стола я тоже бросила золотую монету на номер 17, который считаю счастливым.

Бросила монету и забыла, заглядевшись на старуху с землистым измученным лицом – ну точно Пиковая Дама. Шарик упал на мою ставку, а я все разглядывала игроков, забыв об игре.

Снова завертелся шарик и снова упал на мою ставку. Крупье пододвинул в мою сторону кучу фишек, все на меня смотрели, а я не знала, куда деваться от стыда. Мне казалось, что все думают: «И откуда взялась такая разиня в соболях и бриллиантах?»

Забрав выигрыш и разыскав Э.М. Плевицкого, который усердно ставил на черное-красное, я уехала в Болье. На другой день лил проливной дождь, но под окном, как каждый день, звучала серенада.

Сквозь шум дождя доносился печальный тенорок, от которого хотелось плакать. Я встала с постели и увидела в окно огромный парусиновый зонт, а из-под него длинную седую бороду и тщательно застегнутый сюртук. Лица не было видно, но я догадалась, что и лицо старика печальное, как его голос. Я бросила ему денег. Поджав ноги, я сидела на постели и плакала, слушая певца-старика, который пел о радостном солнце – «о соле, о соле мио», – а дождь лил, лил.

Я плакала и бранила англичан, почему они не выглянут, не бросят денег певцу.

Плевицкий смеялся над моими слезами и, успокаивая меня, говорил, что все заняты своим делом.

– Певец поет, ты плачешь, англичане кофе пьют, а я занят решением вопроса, отпустишь ты меня сегодня в Монте-Карло или нет. Мне снился двадцать второй номер, и я обязательно должен на него выиграть.

Я утерла слезы и отпустила его на час проверить сон, и ровно через час Плевицкий был дома.

Сон оказался вещим. Он проигрался, как говорится, в пух и прах.

А отыгрываться я его не пустила.

* * *

В Москву я приехала за два дня до концертов. К этому времени из Курска со своим другом, молодым священником отцом Виктором, ко мне приехала мать.

Я опасалась, что мать разволнуют и шумная столица, и автомобиль, в котором ей на старости довелось ехать. Но опасения были напрасны. Москва ей «дюже» понравилась.

– Да она поболе Курска будя, – говорила мать и крестилась направо и налево: – Храмов-то, храмов-то Божьих сколько!

А новое слово – «автомобиль» – у нее что-то не выговаривалось и она назвала его проще – храпунок.

– Ну и храпунок! – удивлялась она. – Едешь себе, добро милое, как в люльке, и кнута не надобно, и кобыла тебе, прости, Господи, перед носом хвостом не машет, а он себе похрапывает да едет. Вот умственная диковина, до чего дошел человек.

На концерте, в Большом зале Консерватории, она сидела в ложе с отцом Виктором.

Зал был полон лучшего московского общества. За ужином, после концерта, я спросила мать об ее впечатлениях.

– Что ж, доченька, по правде сказать, ты Богом отмечена, и талант тебе послан, а песни поешь такие, что их и в церкви не грех петь да слезами обливаться. Да как мать хвалить тебя не стану, а то выйдет, что «хороша наша дочка Аннушка, а кто хвалит ее – матушка да бабушка». Хучь тебя-то хвалят многие, сама нонче видела.

– А публика, как тебе нравится наша московская?

Мать кашлянула, поправила шаль и сказала:

– Публика? Публика-то серая.

– Как серая?

– Да так, серая. Енералов больно мало. Один сидел напротив тебя на первом месте, и тот какой-то маленький, щупленький.

А маленький, щупленький генерал, которого заметила мать, был мой верный слушатель, не пропускавший ни одного моего концерта, командующий Московским округом Плеве.

На этот раз сказалась в матери жена николаевского солдата. С далеких времен, когда еще ее Васечка безупречно нес долгую царскую службу, а мать была при нем, привыкла она считать генеральский погон выше купеческих бриллиантов, которых на моем концерте было много, да мать их, пожалуй, и не приметила. В Москве она скоро заскучала, хотя в этом и не признавалась. Но однажды я застала ее в слезах в кабинете, окно которого выходило на соседние крыши. У окна она проводила большую часть дня. На мой вопрос, чего она плачет, она долго не отвечала,

а потом указала на ворон, ходивших по крыше.

– Ты глянь, какие они бедные, ножки тоненькие, а на дворе-то мороз, и клевать нечего.

– Но ты же их кормишь, – сказала я, посмотрев на зерно, рассыпанное за окном.

– Да ета покуда я тут, а когда уеду?

– Ты в деревню, родная, хочешь, – догадалась я.

– А што ж? И поехала бы внучат повидать. Весна идет, а тут простору нету, што тюрьма.

Я понимала, что матери, привыкшей к деревенскому простору, было тесно в городской квартире, а тут еще, когда шла она в ближайшую Пименовскую церковь к обедне, ее из-за угла чуть «храпун» не задавил и теперь ходить туда боязно. В квартире она все уже осмотрела, все потрогала, окропила святой водой стены так, что во всех комнатах на темных обоях белые потеки. Исследовала электричество, да так, что раз всюду свет погас. Нет простора, что тюрьма.

– А как же ты в деревне одна жить зимой будешь? – спрашивала я.

– Там веселее. Там перед окном снежная поляна, кругом лес. Ветер с листьями сухими играет. Подхватит, в кучу соберет. Они на месте покружатся, опять разбегутся, словно карагоды, танки водят, а я гляжу в окно. С ними веселее.

Так Акулина Фроловна и уехала в деревню, а я должна была ехать в Петербург.

* * *

В Петербурге я всегда останавливалась в «Европейской» гостинице. Вечером, перед началом концерта, уже готовая, я стояла у окна и наблюдала съезд. Длинная вереница экипажей, конец которой был на Невском, медленно двигалась к Дворянскому собранию. Я смотрела на публику, которая через несколько минут будет разглядывать меня.

Съезд кончался. Я медленно иду через Михайловскую улицу из отеля в собрание. В артистическом подъезде, в неосвещенных углах, на лестнице, стоят темные фигуры и суют мне письма, – все просьбы, просьбы.

Вот и белый зал собрания.

Как я любила его, когда он сиял хрусталями люстр и приятно шумел толпой!

Весь первый ряд всегда был занят гусарами. Царская ложа редко пустовала.

На эстраде я пьянела от песен, от рукоплесканий, и могла ли я думать тогда, что за спиной у каждого из нас стоит призрак ужасный, что надвигается дикая гроза, которая согнет наши спины и выжжет слезами глаза, как огнем.

А в тот приезд в столицу, в одно из воскресений, я получила приглашение от великой княгини Ольги Александровны приехать к пяти часам во дворец, на Сергиевскую[37].

По воскресеньям к ней приезжали из Царского Села дочери государя, великая княгиня устраивала у себя племянницам маленькие развлечения.

Когда я приехала, великие княжны уже были там и пили с приглашенными чай. Там была блестящая гвардейская молодежь, кирасиры, конвойцы. Была Ирина Александровна[38], похожая на лилию, и круглолицая принцесса Лейхтенбергская Надежда.

Великая княгиня Ольга Александровна подвела меня к юным княжнам и усадила за чай.

Царевны были прелестны всей свежестью юности и простотой. Ольга Николаевна вспыхивала, как зорька, а у меньшой царевны Анастасии все время шалили глаза.

Во дворце царили простота и уют, которые создавала сама высокая хозяйка, великая княгиня.

Когда я увидела ее впервые, мне казалось, что я ее уже давным-давно знаю, давно люблю и что она издавна мой хороший друг. Каждый ее взгляд – правда, каждое слово – искренность. Она сама простота и скромность. Обаяние ее так же велико, как и ее царственного брата.

Великая княгиня старалась делать так, чтобы все забывали, что она высочество, но она оставалась высочеством, истинным высочеством.

Я пела, потом начались игры в жмурки, прятки, жгуты – эти милые, всем известные игры.

Помню, великая княжна Анастасия побежала за мной со жгутом, а я от нее, – поскользнулась да растянулась на паркете. Царевна помогла мне подняться, наступила на мое платье, оно затрещало да разорвалось.

Великая княгиня Ольга Александровна мягко заметила тогда мне, что лучше было бы надеть простое платье, как она и советовала в письме.

После игр великие княжны отбыли в Царское Село, а мы были приглашены к обеду.

На прощанье принц Петр Александрович Ольденбургский просил меня спеть его любимую песню и, растроганный, не зная, как меня благодарить, схватил цветы, украшавшие чайную горку с пирогами, и засыпал землей все торты, все сладости.

Мне памятен этот день во дворце, эти цветы: в тот день я впервые встретила там того, чью петлицу украсил один из этих цветов, того, кто стал скоро моим женихом.

22 января 1915 года на полях сражений в Восточной Пруссии пал мой жених смертью храбрых.

* * *

Весной я пела в Ливадии.

Я и мои друзья втайне беспокоились, что государыня не оценит простых русских песен.

В десять часов вечера, после обеда в большом дворцовом зале, я ожидала наверху выхода их величеств.

Тогда в Ливадии гостил брат государыни. Ровно в десять раскрылись двери, и вошел государь под руку с государыней. Ее брат повел ее к приготовленному креслу, а государь подошел ко мне. Он крепко сжал мою руку и спросил:

– Вы волнуетесь, Надежда Васильевна?

– Волнуюсь, ваше величество, – чистосердечно призналась я.

– Не волнуйтесь. Здесь все свои. Вот постлали большой ковер, чтобы акустика была лучше. Я уверен, что все будет хорошо. Успокойтесь.

Его трогательная забота сжала мне сердце. Я поняла, что он желает, чтобы я понравилась государыне.

Сначала я так волновалась, что в песне «Помню, я еще молодушкой была» даже слова забыла. Зарема мне подсказал. После третьей песни государыня послала князя Трубецкого осведомиться, есть ли у меня кофе. Все присутствующие знали, что это милость и что я нравлюсь ее величеству.

В антракте государыня беседовала со мной, говорила, что грустные песни ей нравятся больше, высказала сожаление, что ей раньше не удавалось послушать меня.

Государыня была величественна и прекрасна в черном кружевном платье, с гроздью глициний на груди.

Государь подошел ко мне с Ольгой Николаевной. Он пошутил над моим волнением, из-за которого я забыла слова, и похвалил Зарему за то, что он подсказал. Государь сказал, что он помнит мои песни и напевает их, а великая княжна подбирает на рояле мои напевы.

Я ответила, что все мои напевы просты, музыкально примитивны.

Государь убедительно сказал:

– Да не в музыке дело – они родные.

А на другой день я получила из Ливадии роскошный букет. Тогда же старый князь Голицын[39] принес мне букет фиалок в старинном серебряном кубке. Как известно, у него была коллекция редких кубков.

Князь был веселый чудак: ходил он в старой крылатке, а ездил в Ливадию на самых обтрепанных извозчиках.

Стояли ясные дни, и я думала подольше остаться в Крыму, но одна странная телеграмма вызвала меня в Москву.

* * *

В Москве мой лакей-китаец чуть не убил кухарку за то, что та послала его «к чертовой матери».

– Как, – крикнул китаец, – моя мамка черт!

И пустил в кухарку тяжелой доской из-под сыра. Кухарку свезли в больницу, а меня просили спешно приехать домой.

Я тогда пожалела, что завела большой штат прислуги. С ними было столько хлопот! Я уезжала в турне уставать от концертов, а они от безделья ссорились, и дома, вместо отдыха, я должна была разбирать их распри.

Разбаловала я их так, что, когда выдавала замуж свою горничную Соню, набила ее сундуки всяким добром, вплоть до бриллиантовых серег, а Соня все плачет. И узнала я, что плачет она оттого, что ей не нравится дареная мной шуба, с воротником из куницы, а хочется иметь каракулевый сак.

После свадьбы Соня пригласила меня к себе, и тогда-то я поняла, за какую дуру меня почитала прислуга. Квартира молодых была обставлена моими вещами, висели занавески мои на окнах, на полочках стояли подстаканники мои. Все было взято у меня без спроса.

Я сгорела от стыда за людей, от которых ничего не запирала, и стала дома проверять вещи; многого недосчиталась и, сидя в спальне, разлилась горючими слезами, жалея не вещи, а людей, что должна их считать нечестными и вешать на двери замки, чего раньше не делала, дабы не унизить их человеческого достоинства.

Помню я еще сестру милосердия, которая прожила у меня год и, уезжая, набила чемоданы моими вещами.

– Вы меня за год узнали? – спросила я сестру.

– Да, узнала.

– И если бы вы попросили у меня эти вещи, отдала бы я их вам?

– Отдали бы, – ответила смущенная сестра.

– Тогда зачем же вы брали все это без моего ведома?

Сестре было, по-видимому, и невдомек, что я страдаю не за себя, а за нее.

Все это, конечно, мелочи, но все это жизненная учеба. А учеба была у меня такая суровая, что я иногда думала, что правда и красота только там, наверху, где мерцают чистые звезды, и вообще там, где нас нет.

Так менялось мое отношение к людям.

* * *

После концерта в Ливадии государыня пожелала, чтобы я навещала ее школу рукоделия в Петербурге, где работали молодые девушки из всех российских губерний.

Я туда и наезжала, и посылала девушкам на свои концерты билеты.

Бывать в доме рукоделия я любила. Там все по старине, все как в тереме: в обширных мастерских белолицые, румяные девушки с длинными косами, в сарафанах. За станками – ткачихи, за пяльцами – вышивальщицы и кружевницы. Глаз не оторвать от ярких ковров и узоров. Там я засиживалась подолгу у гостеприимной начальницы мастерской. А провожая меня, девушки катились шумной толпой по лестнице, выбегали на улицу и горели яркими цветами на белом снегу.

И теперь сохранилась у меня набойчатая, шитая скатерть, подарок этой мастерской. Скатерть как старый друг со мной.

* * *

Вспоминаю еще в Москве Бородинские торжества…[40] Разве можно забыть, как гудела Москва, как гостей дорогих принимала она?

Разве можно забыть тот поток москвичей, что залил, запрудил всю от края до края Москву? Да как солнце родное разыгралось тогда и зажгло над Москвой все кресты, купола. И как грянул Великий Иван[41] с высоты, задрожала земля и запела Москва.

С золотых куполов, сорока сороков,
понеслась эта песня
К Престолу Творца!
И молитвой упала на наши сердца,
и слезой умиления омывалась душа.

Разве можно забыть, что и поныне волнует меня и чего не увижу нигде, никогда…

* * *

1913 год, помнится, я встречала у Л.В. Собинова. В тот вечер был бенефис Коралли, гостиная была наполнена цветами, и душила своим ароматом укрепленная на треножнике звезда из тубероз.

Леонид Витальевич шутя признался, что сам «поднес Верочке ее любимые цветы, чтобы увеличить успех».

Встреча Нового года прошла весело. Среди гостей я помню Попелло-Давыдова с красивой женой и нашего общего любимца, инженера О.А. Гиля, старого холостяка с тоненьким голосом, который никогда не расставался с фотографическим аппаратом…

Недавно узнала я об его одинокой кончине на родине, в голодный год.

А тогда, за полночь, Леонид Витальевич позвонил Шаляпину, поздравил его с Новым годом и помирился с ним: до того у них была размолвка.

Вскоре после новогодней встречи на благотворительном частном концерте я пела с Леонидом Витальевичем дуэт «Ванька-Танька»[42].

И как же тревожилась я из-за этой пустячной песни, собственно, не из-за песни, а из-за того, что буду петь с Собиновым! Хорошо, что концерт был в доме наших милых друзей Калиных, там слушали без критики, и все сошло хорошо.

В доме Калиных умели повеселиться, и немудрено, так как бывали там художники, артисты, а за ужин, в день концерта, сели чуть ли не все артисты Художественного театра. Рядом со мной сидела маленькая, с умными, горячими глазами поэтесса Татьяна Куперник. Она написала мне тогда экспромтом стихи, которые мне не удалось сохранить, как и многое другое.

А домой меня провожали И.М. Москвин и В.И. Качалов с женой.

В наемной карете было так весело, что мы долго ездили по улицам и чуть не заблудились в родной Москве. А все потому, что уж очень был гостеприимен дом Калиных, и Москвин с Качаловым были в большой дружбе, и вкус у них к напиткам был одинаковый, и пили они поровну, но, при разных амплуа, разговор между ними получался замечательный.

Когда в 1923 году приезжали в Берлин московские художники, я убедилась, что в игре они остались теми же чародеями, но внешне за эти годы изменились: все казались располневшими. «Теперь мы в одну карету не вместились бы», – мелькнула у меня на берлинском спектакле грустная мысль.

* * *

Весной 1913 года в Мариинском театре праздновали 25-летний юбилей создателя великорусского оркестра В.В. Андреева.

Юбилейный концерт был торжественный. Присутствовал государь с великими княжнами.

Василий Васильевич, питавший ко мне дружеские чувства, просил меня участвовать в его празднике.

Директором театров был тогда Теляковский. За кулисами я видела, как он проходил в уборную Ф.И. Шаляпина, который не пел в тот вечер, а должен был сказать приветствие юбиляру. Удивил меня тогда Федор Иванович. Он ужасно волновался за кулисами.

– Ну чего я волнуюсь? – сердился он на самого себя. – Если бы еще пел, а то ведь не пою, а волнуюсь.

Его руки действительно были холодными от волнения. Но вышел на сцену – и никому в голову не пришло бы, что великий Шаляпин волнуется.

Когда очередь дошла до меня, я даже удивилась своему спокойствию.

Выйдя на сцену, я повернулась к правой ложе, внизу, где был государь с великими княжнами и сестрой Ольгой Александровной, и поклонилась им, коснувшись рукою земли.

После четырех песен публика не желала меня отпускать. В царской ложе аплодировали, а государь делал мне рукой знак, приглашая выходить еще. Получалась неловкость, – я точно заставляла государя настаивать, чтобы я пела. Но с оркестром у меня ничего больше не было. Я в отчаянии. Прибегает Теляковский, просит петь еще. Пришлось экспромтом, под гусли, петь еще две песни.

На сцену мне подали значок с бриллиантовой цифрой 25. Этот значок был утвержден к юбилею В.В. Андреева и давался служителям народного искусства.

За кулисами меня ждал Теляковский. Он говорил со мной стоя, без улыбки, так, что я не знала, сердится он на меня или мной доволен.

– Кто вас учил так держаться на сцене, кто вас учил так

держать руки?

Я немного оторопела от его тона. «Вот, – думаю, – что такое Императорский театр, тут все не так надобно, как я делаю. Недаром и Шаляпин так волновался перед выходом».

А Теляковский продолжал:

– Я-то думал, как она выйдет на сцену, куда денет руки?

И, обращаясь к стоящей рядом оперной артистке, сказал:

– Учитесь у Плевицкой, как держаться на сцене.

Я вспыхнула от неожиданного комплимента, который задевал самолюбие других, и сказала Теляковскому, что от его похвал чувствую себя неловко.

В тот день он пригласил меня участвовать в концерте в Ярославле, по случаю трехсотлетия дома Романовых. Ярославское дворянство устраивало торжественную встречу государю.

А на концерт были приглашены Е.И. Збруева, Л.В. Собинов и квартет Н.Н. Кедрова. В Ярославле нам отвели дом, где мы и разместились дружной семьей.

Помню, как мы с Л.В. Собиновым тотчас пошли к врачу, так как и я, и он схватили в дороге насморк.

Доктор дал мне капли и приказал перед концертом одну каплю влить в нос, что я и проделала. Мне стало весело, и в носу пересохло.

– Ну и капли! – восхищалась я. – Ну и доктор, дай Бог ему здоровья!

Такую же бутылочку и Собинов получил, только он, к моему удивлению, прямо бутылочку в нос опрокинул и влил половину. Пел он чудесно. Впрочем, и меня капелька выручила. На концерте присутствовали государь и государыня. После концерта я должна была лечь в постель, чувствуя недомогание. Мои милые соседи огорчились. Но вот у меня под окнами раздалась «Серенада четырех кавалеров».

А ведь всем известно, когда квартет Кедрова поет, то всякая хворь проходит.

«Четыре кавалера» подняли и меня, и мы все весело поужинали, милый К.Н. Кедров был трогательно заботлив и весел, как ребенок, а его старший брат, Н.Н. Кедров, ласковым голосом, как нянюшка, рассказывал мне сказку про одну деревенскую девочку, которая была похожа на меня.

Помнит ли Николай Николаевич эту сказочку? А я помню.

* * *

Поездка по Сибири всегда доставляла мне удовольствие.

Бывала я там и зимой, и весной. Что за ширь необъятная… Зимой я любовалась уральскими грозными елями, которые покоились под снегами.

На сотни верст ни одной души, ни одного следа – только сверкает алмазами белая, могучая даль.

Любуешься чистой красотой сибирской зимы, и вдруг мелькнет в голове: «Что бы ты делала, если бы очутилась тут одна, да не в поезде, а в снежном поле или в тайге?»

Весной я видела в Сибири такую красоту, что не могла от окна оторваться.

Экспресс мчался между огромных кустов пионов, по пути расстилались ковры полевых орхидей, ирисов, огоньков.

К сожалению, я молча любоваться не умею, все «ахаю» да «охаю», и было, поди, утомительно соседям слушать мои аханья тысячи верст.

Однажды в поездке по Сибири заболел ревматизмом мой аккомпаниатор Зарема.

Я была в затруднении. Не отменять же концерты! Поэтому мы все лечили и берегли Зарему как зеницу ока. Руки его были здоровы, только ноги не действовали, и вот мы сажали его в кресло, приставляли к роялю, поднимали занавес, а уносили Зарему только тогда, когда занавес падал.

Несмотря на боли, он все-таки продолжал поездку. Во время сильных приступов он свистел или бранился.

– Так, так, так тебе и следует, подлецу, мерзавцу…

– За что это вы так себя величаете? – спрашивали его.

– За грехи молодости, больно веселился мальчик!

И скрипел от боли зубами.

За три года совместных выступлений он знал наизусть весь мой репертуар и играл без нот. Были у него любимые песни, когда он аккомпанировал и плакал. Любил он также романс «Чайка». Случалось, что заслушается и напутает аккомпанемент.

Тогда я сердилась на него и, уходя со сцены, сейчас же делала ему выговор. Но он изучил меня и, если напутает, то не идет за мной следом со сцены, как всегда, а уходит к другой кулисе и, обмахиваясь программой, раскланивается оттуда со мной, сверкая лысиной.

Злость у меня проходила, и мы оба смеялись… Когда я вернулась из Сибири и пела в Царском Селе, помню, как государь в беседе со мной осведомился:

– Ну, как вас принимали там? Я знаю, сибиряки хлебосольные, и меня они хорошо встречали. Какое сравнение и какая святая скромность!

* * *

Сараевское убийство застало меня в Швейцарии, где я отдыхала на Невшательском озере.

Утром ко мне зашел В.А. Шангин[43], прочел мне газету и сказал:

– Укладывайте вещи, завтра надо ехать в Россию.

Ах, я ничего не понимала в политике и удивилась, какое отношение имеют мои вещи к убийству чужого принца где-то в Сербии?

И не знала я, что надвигается на нас горе великое. Вот оно грянуло, и содрогнулась земля, и полилась кровь.

Слава вам, русские женщины, слава вам, страдалицы! Вы отдали все дорогое Отечеству.

Россия закипела в жертвенной работе, все сплотились воедино, никто не спрашивал, како веруешь, – все были дети матушки-России.

А кто же ее не любил?

Не стану описывать того, что знает каждый, а я сбросила с себя шелка, наряды, надела серое ситцевое платье и белую косынку[44]. Знаний у меня не было, и понесла я воину-страдальцу одну любовь.

В Ковно, куда пришла второочередная 73-я пехотная дивизия, я поступила в Николаевскую общину сиделкой, а обслуживала палату на восемь коек.

Дежурство мое было от восьми утра до восьми вечера. К нам поступали тяжелораненые, которые нуждались в немедленной помощи.

Русский солдат, кто не полюбит его! Русский солдат весел и послушен, как ребенок, а терпелив, как святой.

Бывало, скажешь раненому, чтобы он не стонал и не мешал соседу спать. Он сейчас же и притихнет. Мне так становилось жаль его, затихшего, что я едва сдерживала слезы.

У меня недоставало крепости, какую должна иметь сестра милосердия. Я подходила к страдальцу и долго и тихо гладила ему руки, покуда он не засыпал.

И все они тосковали по семьям. Им нужна была ласка. Я знала каждого из них и так к ним привыкала, что, когда кто-нибудь выписывался, я скучала.

Сидя у постели страдальца, я думала, что у Бога мы все равны, а тут лежит предо мною изувеченный неизвестный человек, и никаких чинов-орденов у него нет. Он, видишь ты, не герой, а свою жизнь отдает Отечеству одинаково со всеми главнокомандующими и героями. Только солдат отдает свою

жизнь очень дешево, иногда и по ошибке того же главнокомандующего.

Да простят мне устроители судеб человеческих: с точки зрения законодателей я, вероятно, думала неправильно, но по совести, мне кажется, я права.

– Сестрица, завтра престольный праздник Покрова, – шептал тяжелораненый. – На будущий год, Бог даст, отпраздную…

А я знала, что дни его сочтены и никогда он не увидит родного угла.

Чтобы порадовать его, я приносила ему из церкви просфору, убирала кровать багряными осенними ветвями, покупала вина, фруктов и устраивала для всей палаты престольный праздник.

Я им пела для праздника.

– И откуда ты, сестрица, наши песни знаешь? – удивлялись они. – Неужто сама деревенская?

На мой утвердительный ответ я получала предложения: один говорил, что у него богатый дом, двенадцать десятин земли, сад и новая изба, и если бы Бог послал ему такую «жану», то была бы не жизнь, а рай.

Другой объявился еще богаче: у него пасека. И в конце концов я всей палате обещала по жребию выйти замуж, а до того все они мои женихи, только бы выздоравливали скорее. По временам устраивались концерты наверху, в офицерском отделении. Были и публичные, с благотворительной целью. За неимением платьев, я концертировала в голубеньком сестринском наряде.

А иногда мои песни требовались как лекарство. Помню, сестра пришла однажды ко мне в палату из офицерского отделения и просила помочь ей успокоить тяжелораненого, которому даже морфий не помогает.

Сидя у его постели, я тихо мурлыкала песни, и под них он затих и уснул. Я долго-долго сидела не шевелясь, так как он крепко держал мою руку.

Не раз потом приходилось мне петь ему колыбельные песни…

Уже теперь, в Берлине, я встретила моего ковенского пациента: он пришел ко мне за кулисы совершенно здоровый, чем приятно меня поразил. А ведь был он ранен в позвонок, лежал без движения, и мы, сестры, думали, что останется он калекой.

* * *

В Ковно пришла на отдых кавалерия, к мужьям приехали повидаться жены из Петербурга. Среди них были и мои знакомые.

Иногда мы собирались в гостинице «Версаль» пить чай, вели тихие беседы и вспоминали недавнее и друзей, которых уже никогда не будет с нами.

С фронта приехал великий князь Дмитрий Павлович и посетил наш чай. Грудь его была украшена Георгиевским крестом. Эта награда, как видно, радовала его безмерно. Он на меня как будто даже обиделся, что я запоздала его поздравить.

А собой был простой и общительный, великий князь, таков, что если бы моя мать его увидела, непременно сказала бы:

– Ах, и дите уродилося непомерной красоты!

И я с ней согласилась бы.

Вскоре великий князь стал прощаться. Он сообщил, что его требуют в штаб Ренненкампфа, который вдруг очутился на вокзале в Ровно.

Все поняли, что это значит.

А на другой день утром в штабе 73-й пехотной дивизии был получен приказ выступать на фронт.

Начальник штаба, полковник Генерального штаба В.В. Кривенко, хлопотал, чтобы ему дали полк. Его желание исполнилось, и под Эйдкуненом он уже командовал Трубчевским полком.

Тогда его должность временно занял поручик Кирасирского Ее Величества полка В.А. Шангин, только что окончивший Академию Генерального штаба, но уже с боевым опытом, так как еще студентом ходил добровольцем в Японскую войну и имел Георгиевский крест.

– Выступаем, – радостно сообщил мне В.В. Кривенко.

– Радуюсь за вас, – сказала я и подумала: «Зачем я говорю не то, что думаю, ведь никакой радости нет провожать людей на смерть. Вот если бы кончилась война, то была бы радость».

Дивизия была готова к выступлению, была готова и я. Но телеграмма, посланная в Ставку с просьбой зачислить меня в дивизионный лазарет, осталась без ответа. В дивизионных лазаретах сестрам быть воспрещалось.

Тогда, с разрешения дивизионного начальства, в форме санитара, я выступила в поход при нашем лазарете.

Был солнечный осенний день, падали-кружились золотые листья. На дороге колыхались стройные колонны полков. Подстриженные и побритые по приказанию начальника дивизии «второочередные дядьки» выглядели помолодевшими, бодрыми молодцами.

Но, видно, не все сбрили бороды, и на мосту стоял часовым степенный дядька в бороде. Начальник дивизии крикнул ему:

– Здорово, молодец!

Бородач медленно приложил винтовку к животу, поклонился генералу и сказал с удовольствием:

– Здравствуйте, ваше превосходительство.

– Ворона ты, а не молодец! – рассердился генерал, а кругом все покатились со смеху, к великому недоумению часового.

Вся фигура бородача вопрошала, за что генерал сначала его молодцом, а потом вороной обозвал. Кажется, все по правилу: и на караул взял, и поклонился, и вежливо поздоровался.

Жаль мне стало бородача, вероятно, тихого мужика-пахаря, оторванного от земли, от сохи, от детей.

А чистое небо синеет, а солнце осеннее играет.

И с посвистом песни несутся лихие,
И прячут печаль друг от друга солдаты.
А смерть подколодной змеей подползает
И храбрых костлявым перстом отмечает.
Так с песней лихою шли в бой храбрецы,
Над их головами сияли венцы.

После ночлега в маленьком городке дивизия двинулась к Вержболово, откуда была слышна орудийная пальба.

Я стояла у дороги и бросала проходившим солдатам пачки папирос, закупленные в местечке. Я смотрела, как радовались солдаты, будто маленькие дети, и как ловили пачки на лету. А некоторые подбегали ко мне и, не угадывая во мне женщину, просили:

– Ваше благородие, дозвольте коробочку, а то ребята не дают, обижают.

Идут, идут колонны, идут туда, где ад кипит, под дождь стальной, идут в огонь.

Упасть бы на землю, поклониться бы им всем. Поклониться смелым за храбрость, за удаль, кротким за кротость, за послушание.

Вы все мои братья, вы все дорогие, родимые.

Все ближе рвутся снаряды. Сумерки. Дивизия вступила в бой. Вержболово горело, страшно освещая красным полымем небо. Грохотали орудия.

В поле стал штаб дивизии. Дивизионный наш лазарет развертывался в двух верстах от штаба. Раненых еще не было: мы ждали их, сидя на соломе в душной и тесной избе.

В два часа ночи раненых привезли. Санитар обносил их огромным чайником с кипятком, а я поила и, кому можно было, давала коньяк, который потихоньку стащила у доктора.

Я, грешная, думала, что рюмка коньяку была необходима

человеку, который только что вырвался из огня, – потрясенный, в крови.

На залитых кровью людей невыносимо было глядеть. Все силы напрягла, чтобы быть спокойной. Мученические глаза – вовеки их не забуду.

Миновала ночь.

Начальник дивизии генерал Левицкий любезно предложил мне место в своем автомобиле, чтобы довезти до новой стоянки лазарета.

За Эйдкуненом шел бой. У пограничного моста автомобиль начальника дивизии встретил отступающую артиллерию. Генерал Левицкий остановил автомобиль и яростно крикнул:

– Кто приказал отступать? Командира сюда!

Бледный командир на сером коне, выслушав крепкое приказание, повернул обратно на позицию.

Через несколько минут загрохотала наша артиллерия. У взорванного пограничного моста начальник дивизии и поручик Шангин пошли пешком на ту сторону реки.

Я осталась у автомобиля с полным чемоданом перевязочных средств. Мимо меня проходили раненые, которые могли двигаться сами.

Мои бинты скоро иссякли: раненых было много. Ведь в одном Коротоярском полку выбили в тот день две тысячи человек.

Я знала, что лазарет стоит неразвернутым в поле, и, нарушив приказание не двигаться, пошла в Эйдкунен, где развевался флаг с красным крестом. Там, стало быть, полковой околоток.

По дороге, в маленькой будке, я увидела начальника дивизии и поручика Шангина, который, не отрываясь от аппарата, передавал изнемогающему Коротоярскому полку:

– Держитесь еще несколько минут! К вам идет на помощь Валуйский полк.

Начальнику дивизии, по-видимому, некогда было на меня сердиться за ослушание.

Постояв около будки, я пошла в околоток.

В эту минуту орудия смолкли и наступила жуткая тишина. Я остановилась и послушала тишину, и вдруг там, где изнемогал Коротоярский полк, зловещей частой дробью застучали пулеметы. А когда пулеметы смолкли, грянуло «ура», наше русское «ура». Валуйцы пошли в атаку.

О Господи правый, сколько в этот миг пролито крови! Какую жатву собрала смерть?

В околотке, куда я пришла, врачи выбивались из сил, и руки их были в крови. Не было времени мыть.

Полковой священник, седой иеромонах, медленно и с

удивительным спокойствием резал марлю для бинтов.

– А ты откуда тут взялась? – обратился он ко мне. – И не разберешь, не то ты солдат, не то ты сестра. Это хорошо, что ты пришла. Ты быстрее меня нарежешь марлю.

И среди крови и стонов иеромонах спокойно стал рассказывать мне, откуда он родом, какой обители и как ему трудно было в походе привыкать к скоромному.

Мне показалось, что он умышленно завел такой неподходящий разговор. «А может, он придурковатый?» – мелькнуло у меня, но, встретив взгляд иеромонаха, я поняла, что лучисто-синие глаза его таят мудрость.

Руки мои уже не дрожали и уверенно резали марлю, спокойствие передалось от монаха и мне.

Позже, через несколько месяцев, когда пробивался окруженный неприятелем полк, этот иеромонах, в облачении с крестом, шел впереди. Его ранили в обе ноги. Он приказал вести себя под руки. Он пал смертью храбрых.

Уже была ночь сырая, холодная, когда квартирьеры указали нам полуразрушенный дом без окон, на дороге к Сталупенену. Там должен был ночевать штаб дивизии.

Сталупенен в наших руках, но стоил он тысяч жизней. Пронизывающий ветер дул в окна, в углу оплывала свеча. Горячий чай в никелевой кружке казался мне драгоценным напитком, а солома, постланная на полу, чудесным пуховиком.

После моего первого боевого дня я спала так крепко! И не слыхала я, что поздней ночью был в штабе тот, кто был мне дороже жизни[45].

Не слыхала, что стоял надо мной и сна моего не потревожил. А только после его смерти я прочла в его дневнике запись, помеченную тем днем, той ночью: «Чуть не заплакал над спящим бедным моим Дю, свернувшимся в жалкий комочек на соломе, среди чужих людей».

Утром солнце осветило наше неуютное убежище, и мы увидели, что спали среди мертвецов.

В сарае, в закоулках, около дома, в придорожной канаве, в саду, в поле, кругом – лежали павшие воины. Лежали в синих мундирах враги и в серых шинелях наши.

Страшный сон наяву! Да и в страшном сне я не видала столько мертвецов: куда ни глянь – лежат синие и серые бугорки; в лощинах больше. Они ползли туда, быть может, уже раненые, от смерти, но смерть настигала их, и теперь в лощинах неподвижные бугорки.

Предо мной лежал русский солдат в опрятной и хорошей шинели. Спокойно лежал. Будто лег отдохнуть. Только череп его,

снесенный снарядом, как шапка, был отброшен к плечу: точно чаша, наполненная кровью.

Чаша страдания, чаша жертвы великой. «Пиите от нея вси, сия есть кровь Моя, яже за вы и за многия изливаемая…»

Тот, Кто сказал это, наверное, ходил между павших и плакал.

Из походного ранца солдата виднеется уголок чистого полотенца, а на нем вышито крестиком «Ваня».

Ах, Ваня, Ваня, кто вышил это ласковое слово? Не жена ли молодая, любящая? Не любящая ли рука матери вязала твои рябые, теплые чулки?

Что в нынешнюю ночь снилось тем, кто так заботливо собирал тебя в поход?

Холодное солнце дрожит в чаше, наполненной твоей кровью. Я одна над тобой. Как бы обняли тебя, Ваня, любящие руки, провожая в невозвратный путь!

* * *

До января боев не было.

Старший дивизионный врач, симпатичный вечный студент, не прочь был выпить, а выпив, пел «Гаудеамус»[46]. Он был скромен, приветлив, и в лазарете жилось хорошо.

С удовольствием вспоминаю рождественскую елку в штабе дивизии, куда приехала с подарками жена начальника дивизии С.П. Левицкая.

Штаб стоял в имении Амалиенгоф, между Сталупененом и Гумбиненом, близ полотна железной дороги. И теперь, когда я проезжаю там, всегда стою у окна вагона и жду, как промелькнет большой барский дом и окно той комнаты, убранное елочками.

Покажутся из-за дома высокие верхушки елей, а там, под этими елями, я помню, был холмик с белым деревянным крестом. Я кланялась холмику и тому, кто лежал в чужой земле, одинокий.

Теперь креста, наверное, уже нет там, и холмик разметали. И чего не вспомнится в короткий миг, когда промелькнет Амалиенгоф…

Помню обширную столовую и большую люстру, под которой не любил сидеть Левицкий, опасаясь, что она упадет ему на голову. Помню, как за обеденным столом вели военные споры и разговоры о том, кто храбр, а кто нет.

Полковник Кривенко, к которому я обратилась, сказал мне:

– Храбрый – это капитан Зверев. Тот, маленький, рябой, у которого нос пятачком. Еще в Японскую войну, на походе, заснул на орудии зимой и приморозил к пушке нос. Проснулся, потянул

нос и оторвал кончик. Зверев – отважный офицер. Есть еще в дивизии храбрец, вольноопределяющийся Иван Михайлович Калинников, корреспондент «Нового времени». Он ходит в самые опасные разведки. Вот еще поручик Шангин вроде Зверева. На днях оба на белых лошадях проехали по верхушке окопа, а там не только ездить – головы высунуть нельзя. За это им был нагоняй от начальника дивизии.

Полковник Кривенко восхищался храбростью других, а что сам он был очень смелым, об этом я слышала от многих.

На тех же Святках мы ездили, помню, в Тракенен, где есть знаменитый конский завод.

Попечительница Николаевской общины княгиня Васильчикова приехала к нам из Ковно и привезла мне косынку с кокошником: это было своего рода повышение. С княгиней-то мы и поехали в Тракенен.

Там стояла кавалерия генерала Леонтовича. Генерал встретил нас гостеприимно и показал великолепные лошадиные дворцы. На дворе мы увидели, между прочим, чубатого, с тонким, красивым лицом, казака, который учился ездить на велосипеде. Он не обращал на нас внимания, а упрямо одолевал стального коня. Впрочем, этот конь то и дело сбрасывал казака в снег. Генерал Леонтович окликнул его. Он подбежал, вытянулся.

– Позвольте представить, – сказал генерал, – первый Георгиевский кавалер, казак Крючков.

Так мы увидели Крючкова, портретами которого уже пестрели все журналы.

Княгиня казака сфотографировала. Он позировал неохотно. Генерал Леонтович заметил, что Крючков «не очень дисциплинирован». Когда Крючков хочет идти в разведку, а генерал не разрешает, он упрямо трясет чубом, повторяя: «А почаму, а почаму?»

Мы выехали из Тракенена, и княгине захотелось вдруг поехать поближе к фронту. Она приказала шоферу повернуть туда. Дорога хорошая. Тихо. Кругом белый снег, ни души. Вдали темнеет хвойный лес и курится дымок. Догорает, вероятно, лесная сторожка.

Вдруг с левой стороны, вдоль шоссе, проворковал снаряд, другой, третий. Разрывы за нами.

– Стой!

Шофер остановился. На дорогу вышел офицер. Он недоумевал, кто нам разрешил сюда ехать.

– Ведь тут уже немцы, – указал он на лесок. – И они стреляют по вашему автомобилю. Думают, что начальство какое-то едет.

Мы повернули обратно. Нас провожали разрывы снарядов.

Невдомек было немцам, что находится в автомобиле княгиня, на последнем месяце беременности, да народная певица, а то, пожалуй, они и снарядов не тратили бы.

* * *

Перед нашим отступлением из Восточной Пруссии командир корпуса генерал Епанчин приказал сестрам находиться подальше от фронта. Меня перевели в Эйдкунен, в полевой госпиталь, и когда я ездила в штаб дивизии, то старалась не попадаться на глаза суровому генералу Епанчину.

Меня всегда возил тихий санитар Яков.

От Эйдкунена до Амалиенгофа двадцать пять верст. Бывало, едем ночью, в непогоду. Жутко, темно, ни души кругом.

– Не спеть ли нам, Яков? – предложу я.

– И то, сестрица, споем!

Вот мчится тройка удалая
По Волге-матушке зимой!..

Точно рассекала темень родная песня моя, а с ней и дорога казалась короче.

Один дом не могла я миновать спокойно. Было это ночью или днем, всегда у того дома испытывала глухое волнение: в трех верстах от Эйдкунена стоял тот дом, низкий и мрачный. Как только завижу его, у меня начинало ныть сердце от тоски и неведомого страха. Но как миную дом – все проходит.

Почему, почему же я страшилась того мрачного дома?

Бушевала метель. Над железнодорожным полотном злым коршуном вился вражеский аэроплан. Летал низко, кружился, рычал, нырял во мглу вьюги и вновь вылетал, снижался, сбрасывал огненные бомбы, как демон крылатый.

Наши отступали по глубокому снегу, в метели, выбиваясь из сил.

Мы уходили, но враг настигал, отрезал обозы, забирал в плен.

Яков гнал утомленную лошадь, ерзал на сиденье, словно помогая ей. Нас обгоняли все. А мчащаяся в карьер артиллерия перевернула нас в сугроб.

Дивизионный врач и я очутились в снегу, прикрытые санями, и нам пришлось бы долго лежать там, если бы нас не освободил Яков.

Старший врач, отряхивая снег с полушубка, мягко корил

Якова, который не дал вовремя дороги артиллерии:

– Что же это ты, братец, таво-этово? Ведь это же ты понимаешь, таво? Мы могли таво-этово, так там и остаться, а ты, братец, таво…

Яков прилаживал сани, доктор дрожащими руками старался зажечь папиросу, а у меня так билось сердце, что я пожаловалась на сердечный припадок.

– Хоть умрите, дорогая, – сказал доктор, – помочь ничем не могу.

Уж наступила ночь. Мы снова тронулись. По дороге темнели холмики в снегу. Метель заметала темные холмики – замерзающих.

Мое сердце мучительно билось, точно терзалось в груди. Я закрывала глаза и видела мертвенно-бледное лицо моего дорогого. Где он, где он? Ведь штаб дивизии давно промчался мимо, а я не видела его с ними.

Я отыскала штаб дивизии в маленьком местечке и там узнала о моем горе.

Свершилось самое страшное: упала завеса железная, и свет погас в глазах.

Спасая других, он сам погиб у того самого дома, которого я не могла миновать без тяжкой тоски.

Да будет воля Твоя, да святится имя Твое.

* * *

Помню, штабной офицер дал мне место в коляске, которая то и дело погружалась в сугробы. Немцы настигали нас. Тогда знакомый штабного офицера, казачий полковник Попов, предложил мне место в своих санях. Он укрыл меня буркой, и мы быстро помчались.

В штабной коляске я забыла тогда мой чемоданчик с драгоценностями, а среди них и брошь в виде кокошника с бриллиантовым орлом, пожалованную мне государем во время Бородинских торжеств в Москве.

Это была моя любимая брошь, с которой я не расставалась. Я вспомнила о ней только потому, что в те дни мне как будто было суждено терять все любимое.

В лесу, в одинокой курной избе, нас приютила на ночлег бедная женщина.

Полковник Попов во всю дорогу не потревожил меня расспросами, а только молча укрывал буркой. Но когда в избе, у загнётки, затрещали сухие лучинки, на которых хозяйка кипятила

чай, полковник снял черкеску, сел у моего изголовья и повел тихую речь. Он говорил, что человеку грех роптать, когда Бог посылает ему испытание, что в страданиях омывается наша душа, а мы слезами заливаем души ушедших, любимых, и наши слезы тяготят их, уже освобожденных от земной темницы.

Полковник еще рассказывал мне, как он сам едва не лишил себя жизни, потеряв любимую жену. Но вот остался жить, ради сироток-девочек, и горе, которого, казалось, не переживет, давно ушло.

– Посмотрите, – с улыбкой указал он на свой теплый шарф. – Это моя дочка связала, а я ношу и радуюсь.

Долго под вой вьюги и треск лучин утешал он меня, и моя душа, готовая возроптать, затихла, смирилась и как причастие принимала мудрые и светлые слова Библии, которую казачий полковник знал, по-видимому, наизусть.

На меня сошел покой. Я уснула. Помню, как ночью нашла я кружку с водой у моего изголовья. Ее поставила та же рука, добрая, участливая.

Прошли годы, я перенесла горе, но добрых слов Попова и заботы его братской не забуду никогда.

Он доставил меня в Ковно, и больше я его никогда не встречала.

Однажды пришел меня навестить и А. Чернявский, автор многих романсов. Смешной он был человек: осторожно постучался ко мне и с опаской вошел. Я спросила:

– Чего это вы так боитесь?

– Да ведь тут сумасшедший дом, вот я и боюсь, как бы вы на меня не набросились. А вдруг вы буйная?

Я поспешила его успокоить, что сумасшедшие помещаются рядом, а тут отдыхающие люди.

– Тут и Леонид Андреев наверху отдыхает, – сказала я.

Только тогда он сел в большое кресло, и так удобно, что его короткие ноги не доставали пола.

* * *

В Петербурге прямо с вокзала бескорыстный друг, однополчанин В.А. Шангина Ю.П. Апрелев, привез меня к своей матери, Елене Ивановне.

Величавая, мудрая и светлая моя Елена Ивановна… Я и теперь вижу ее, высокую, с белоснежной седой головой, вижу и ласковую ее улыбку.

Сидит она в кресле, а я у ее ног, на мягкой скамеечке,

положив ей голову на колени. Рядом работает «мышь» Амалия Ивановна, седенькая компаньонка, состарившаяся вместе со своей госпожой.

Елена Ивановна тихо гладит мои волосы и рассказывает мне о прелестном и дальнем – о встречах с И.С. Тургеневым и о Виардо, в доме которой она бывала. Елена Ивановна была любимой ученицей Тургенева и сама писательница.

Была заперта моя квартира на углу Сергиевской и Таврической. Там мне было тяжело жить.

Чтобы немного оправиться от всего пережитого, я, по совету друзей, стала лечиться в водолечебнице доктора Абрамова. Там я поселилась, там меня навещали друзья и знакомые.

* * *

В память моего ушедшего жениха я желала служить миру по силам своим, а в минуты слабости духа я обращалась к Библии и к святому Евангелию. А там сил источник неиссякаемый – только черпай и пей из родника истины, и тогда незаметно откроются духовные очи и увидишь, чего раньше не замечал, и познаешь, что ты не один, а добрые силы невидимые ведут тебя и что злоба, зависть и жадность – все те железные оковы, от которых душе человеческой тяжко, – сброшены, и легче солнечного луча станет душа.

И возрастут у нее крылья быстрые с кладью любовною, и парит она по поднебесью, и видит яркий свет, ярче солнышка.

Моя долюшка – доля счастливая, будто матушка родимая меня учила уму-разуму.

Чтобы знала я, как в труде живут, родила меня крестьянка-мать и отец мой, пахарь-труженик.

Чтобы славу я познала, она мне песню подарила. Чтобы золоту знать цену и каменьям драгоценным, меня и в золото, и в камни она любовно нарядила. Чтобы я всех любить умела, чтоб за жертвенность святую братьям кланялась я земно, показала мне судьбинушка реки красные, кровавые, напоила чашей горьких слез над крестами безымянными, что убогими сиротками по чужой земле разбросаны. Причастила горьким горюшком, умудрила, приголубила ярким светом, ярче солнышка, чтобы знала я да ведала, для чего сюда мы присланы, чтобы душа светилась и слезами омывалась.

Вот где радость-то пресветлая, как додумалась, дозналась, для чего сюда мы присланы.

В жизни я знала две радости: радость славы артистической и

радость духа, приходящую через страдания.

Чтобы понять, какая радость мне дороже, я скажу, что после радостного артистического подъема чувствуется усталость духовная, как бы с похмелья.

Аромат этой радости можно сравнить с туберозой. Прекрасен ее аромат, но долго дышать им нельзя, ибо от него болит голова и умертвить может он.

А радость духовная – легка, она тихая и счастливая, как улыбка младенца. Куда ни взглянешь, повсюду светится эта радость, и ты всех любишь и все прощаешь.

Эта радость – дыхание нежных фиалок. Дыхание их хочешь пить без конца. Радость первая проходит, но духовная радует до конца дней.

* * *

На второй неделе поста в Михайловском театре давался концерт под покровительством великой княжны Ольги Николаевны в пользу семей убитых воинов.

Там было мое первое выступление после приезда с фронта. В день концерта ко мне в лечебницу два раза приезжал В.В. Логранж и внушал, глядя на меня своими черными искристыми глазами:

– Ты будешь сегодня петь так, как никогда не пела. Ты все забудешь, что тебя тревожит.

Вечером Логранж повез меня в театр. Там Ю.П. Апрелев проводил меня в ложу своей матери. Милая Елена Ивановна, никуда не выезжавшая, приехала, чтобы поддержать меня своей доброй силой.

В ложе я подошла к зеркалу и увидела свое отражение. Это была не я, а вешалка, на которой висело черное платье. К худому бледному лицу не приставали ни пудра, ни румяна.

– Я не могу петь, – взмолилась я перед распорядителем М.И. Горемыкиным.

– Нет, ты, Наденька, будешь петь, – ласково, но твердо сказала мне Елена Ивановна, предупреждая ответ М.И. Горемыкина, и погладила мне голову.

– Хорошо, буду петь, – сказала я покорно.

Я была хозяйкой вечера. Весь зал требовал хозяйку вечера на сцену, и вот я вышла из ложи, и вот я на сцене. Чтобы не упасть, я прижалась к роялю.

В зале гробовая тишина, а я не пою. Вдруг увидела в полутьме горящие глаза Логранжа и вспомнила слова песни,

написанной для сегодняшнего концерта:

Средь далеких полей, на чужбине,
На холодной и мерзлой земле,
Русский раненый воин томился,
В предрассветной, безрадостной мгле.

Как странно звучит мой голос, будто чужой. Давно его не слыхала, не такой был у меня. Нет сил. Сердце колотится, я задыхаюсь, я не пою, а говорю:

Знает он, не дождаться рассвета.
Вражьей насмерть сражен он рукой.
Тяжко раны болят, но не это
Затуманило очи слезой.

«Боже, с радостью я умираю,
За великий народ, за Тебя,
Но болит мое бедное сердце,
И душа неспокойна моя.
Там в далекой, любимой отчизне
Без приюта осталась семья»…

И случилось вдруг дивное диво,
Осветился зарей небосвод,
И к страдальцу в сияньи и блеске
Кто-то светлый и чудный идет.
И звучит в просиявшей пустыне
Голос, полный любви неземной:

«Храбрый воин, не бойся, и ныне
Совершил ты свой подвиг святой.
Будь спокоен. Защитником верным
Будет Бог для малюток-сирот,
Не допустит обиды и скверны,
И накормит, и слезы утрет».

И с улыбкой, в краю неизвестном,
Встретил воин наш смертный свой час,
Осенил себя знаменем крестным
И без жалоб навеки угас.

Вы, к кому так судьба не сурова,
Кто отцов и детей сохранил,

Не забудьте завета Христова
И завета из братских могил.

В зале была тишина. Будто раздумывали, можно ли такой песне аплодировать?

Но чей-то хлопок нарушил тишину. Зал загремел от рукоплесканий, мне вручили большой ковш, и М.И. Горемыкин повел меня со сцены в публику.

Ковш быстро наполнился деньгами, потребовались шапки. Все были щедры и давали, давали для сирот свои лепты.

Как хорошо сознавать, что бывают минуты, когда люди одинаково думают и одинаково добры – все до одного.

После сбора ко мне в уборную пришел военный министр Сухомлинов.

Перед ним все расступалось тогда, но что было потом… О почести человеческие, кратковременные!

Недавно, в Берлине, я стояла над скромной могилой Сухомлинова. Думал ли военный министр России, что Германия даст ему последний приют?

Тогда же тихой, вкрадчивой поступью вошел ко мне и поэт – крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, что Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать? Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня.

Он нуждался и жил вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда говорил с большой нежностью, называя его «златокудрым юношей». Талант Есенина он почитал высоко.

Однажды он привел ко мне «златокудрого». Оба поэта были в поддевках. Есенин обличьем был настоящий деревенский щеголь, и в его стихах, которые он читал, чувствовалось подражание Клюеву.

Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клюевым. Тот ежился и, втягивая голову в плечи, опускал глаза и разглядывал пальцы, на которых вместо ногтей были поперечные, синеватые полоски.

– Ах, Сереженька, еретик, – говорил он тишайшим голосом.

Что-то затаенное и хлыстовское было в нем, но был он умен и беседой не утомлял, а увлекал и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек. Так же и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нем одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых

голенищах, на стоптанных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддевки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьем, что его молчание мне нужнее беседы.

* * *

В то время траурные объявления ежедневно извещали о смерти храбрых: друзей, знакомых, родных. Убит был мой племянник, первенец брата Николая.

В часовне Николая Чудотворца на Литейном, где всегда пылал жаркий костер восковых свечей, я служила по нему панихиду.

Старенький священник и маленький пономарь-горбун истово молились и пели старческими голосами, клубилось синеватое облако ладана и лилась панихида умиленно, как песня колыбельная над спящим дитятей.

В этой часовне я бывала часто, я отдыхала там в напоенной ладаном тишине.

Никогда я не была ханжой, но во время всеобщего траура душа ничего не желала, кроме молитв.

Вот почему я охотно посещала религиозные собрания и собеседования, но от городских сплетен крепко запирала двери. Невмоготу было слушать, как люди, и не видавшие фронта вблизи, легко передвигали войска, бросали полки туда и сюда, завоевывали Берлин, критиковали все и вся. Даже дамы своими маленькими ручками командовали армиями и одерживали победы за чайным столом.

Много говорилось пустого, много сеялось лжи, да не я тому судья: «Отойди от зла и сотвори благо».

И когда песня благо, я несла ее в госпитали и на благотворительные концерты.

С удовольствием вспоминаю я собрания у министра Шварца. На одно я привела Клюева. В двухсветном желтом зале М.В. Ладыженский в тот вечер читал свою трилогию «Невидимые волны». Среди гостей был и митрополит Владимир, убитый потом в Киеве, в Печерской лавре.

После чтения Ладыженского дочь хозяина уговорила Клюева прочесть что-нибудь из его произведений. Он согласился. Старомодные старушки зашевелились, зашептались, стали вскидывать лорнетки на поддевку и голенища Клюева. Почему светские старушки так всполошились, я и теперь не знаю: напугало ли их деревенское обличье поэта, или они думали, что

это новоявленный Распутин?

– Чтобы не пугать их, – сказал мне Клюев о старушках, – я больше в салон не пойду.

Он был обижен таким приемом, а между тем он читал тогда те самые стихи, слушая которые плакал у меня А.И. Шингарев. Я помню, как, зябко прижимаясь к изразцам теплой печки в моей гостиной, плакал не стесняясь Шингарев хорошими слезами, слушая «Солдатские душеньки» Клюева:

Покойные солдатские душеньки,
Подымаются с поля убойного,
Из-под кустья они малой мошкою,
По-над кустьем же мглой столбовитою.
В Божьих воздухах синью мерещатся,
Подают голоса лебединые.
Словно с озером, гуси отлетные,
Со святорусской сторонкой прощаются.
У заставы, великой, предсолнечной,
Входят души в обличие плотское.
Их встречают там горние воины
С грознокрылым Михаилом Архангелом.
По три крата лобзают страдателей,
Изгоняют из душ боязнь смертную,
Опосля их ведут в храм апостольский,
Отстоять поминальную служебку.
Правит службу там Аввакум, пророк,
Чтет Писание Златоуст Иван.
Херувимский лик плещет гласами,
Солнце-колокол точит благовест.
Опосля того громовник Илья
Со Еремою запрягальником
Снаряжает им поезд огненный
Звездных меринов с колымагами
Отвезти гостей в преблаженный Рай,
Где страдателям уготованы
Веси красные, избы новые,
Кипарисовым тесом крытые,
Пожни сенные, виноград, трава,
Пашни вольные, бесплатежные —
Все солдатушкам уготовано,
Храбрым душенькам облюбовано.

* * *

На Страстной я приехала в деревню, к великой радости матери.

Она встретила меня праздничная, в чинном наряде, и все оправляла шаль, то и дело приглаживая пробор на голове, где и без того волос к волосу расчесан.

– Ах, и гостья дорогая, пожаловала, ах, пташечка залетная! – сквозь слезы говорила мать. – Уж я все глаза проглядела, все тебя ждала-выглядывала. Думала, не увижу свою кралечку, не дождусь, умру… Стара уж я стала и вижу плохо – от слез, должно быть: все плачу. Горя-то, горя кругом. Внучека Колюшку убили, и ты на што похожа.

И залилась слезами, родная.

Сели мы с нею вдвоем в уголок и плачем: никто нам не мешает. Умна моя старушка, все знает, но и словом не обмолвилась о моем горе.

Должна сказать, что она любила моего первого мужа Э.М. Плевицкого, и, когда мы разошлись, огорчалась очень.

Наплакались мы вдоволь, порадовались встрече, а на дворе – рай. Весна на дворе.

Журчат веселые ручьи, в окне зеленеет лозник, как зеленое облачко. По всей деревне звонко перекликаются петухи, на радостях, что солнце пригревает.

А в доме – суета, все спешат до праздника убраться. На кухне Дунечка хлопочет; хорошая она хозяйка.

Курносый Фомка, мой племянник, любимец и неразлучный друг бабушки, принес мне охапку подснежников, стоит у притолоки и носом шмыгает с конфузу.

– Теть, а теть, венок-то плесть на Плащаницу будешь?

Сказал и зарделся, добавил:

– В три часа звонить зачнут. Штоб к выносу поспеть.

– Ну, милый Фомка, давай цветы и получай в награду картуз суконный да кумачовую рубаху, от тетки к Великому дню. Да тятьке и матери скажи, чтобы за обновами шли. Скажи: бабушка велела, чтобы все внучата к ней пришли.

Фомка, в новом картузе, помчался выгоном домой, и скоро пришел Николай всем домом. А дом у него – полная чаша.

– Что Бога гневить, – говорит он мне, – старшого на войне убили, а у меня – Господь послал – еще растут солдаты, да во какие: любимец матери – Федюшка, тихий Ваничка, поменьше, а Фомка-то орел какой, да сероглазый озорник Купрюшка – весь в мать пошел, и мордашка веснушчатая, да Андрюшка, да Степка, да Захар – глянь какие крепыши… А тут и девки, Аленка да Анютка, в подмогу матери растут. Когда еще Бог пошлет, то я не прочь, Параша только бы не серчала…

Шумела в доме детвора, обновы мерила, плела венок на Плащаницу, а мать допрос им учиняла: «Кто с утра едою грешен, да непослушен и ленив, тот басурманин некрещеный. А кто постился, был послушен, тот бабушкин любимый внучек. Тому пятак она подарит, тот свечку купит и в придачу гармошкой сложенный фонарик».

Оказалось, что все внуки были постники великие: никто не ел до Плащаницы, окромя маленькой Аленки, а той сам Бог велел.

Так и минула Светлая Пасха. В кругу семьи, с моим приездом, мать помолодела.

– Кабы не кашель, – говорила она, – дак меня хоть замуж отдавай. Здорова, как девка, право слово. Да я и не старая: всего-то мне восемьдесят шестой годочек пошел.

И наклоняла свою русую голову без единого седого волоска и улыбалась, показывая белые зубы.

Как я радовалась смотреть на ее молодую старость, а все сжималось сердце, что быть дню, когда смолкнет навеки дорогой голос и не будут на меня смотреть родные глаза.

Мать спокойно готовилась к смертному часу и собиралась в далекий путь, будто в гости.

– Ты, Дёжечка, не горюй, когда я умру, – говорила она. – Сама я смерти не боюсь. Так Господом положено, чтобы люди кончались. Я вот с двадцати годов смертное себе приготовила, а ты мне только ходочки купи, чтобы было в чем по мытарствам ходить, когда предстану пред Судьей Праведным. А гроб лиловый с прозументами мне нравится. Да подруг моих одари платками, а мужиков, которые понесут меня, – рубахами, пожалуй. Ну вот и все. А как поминки справить – сама знаешь.

Сокрушалась она о грехах своих вольных и невольных, раздумывала и о том, какое место уготовано ей на том свете.

– Вижу, онадысь, сон, – рассказывала мать. – Будто иду я по саду, глянь, избушка стоит, белая, чистая, а в избе-то сидит Потап Антоныч, вымытый, примасленный, ну впрямь живой. Я и подумала, проснувшись: ета Потапу приготовлено место на том свете за смирение его. Ведь он на своем веку курицы не обидел. Опособи, Господи, и меня такою хаткой небесной…

Был жаркий день в разгаре лета. Поденщицы пололи у нас огород. Мать, стоя за решетчатым забором, шутила с девками и вдруг, должно быть вспомнив молодость, – девки не успели оглянуться, – перешагнула Акулина Фроловна через заборчик, села с девками в ряд на борозде и принялась работать на солнцепеке.

К вечеру у нее разболелась голова. Я пожурила мать за работу на жаре.

– Што сваливать на жару-то, когда приходит время? – ответила она. – Батюшку призвать нужно. Я пособороваться хочу.

Когда батюшка свершал над матерью величавый обряд, она с детской кротостью стояла на коленях, во всей красоте своего великого и мудрого спокойствия.

– Пошли нам Бог быть так же готовыми, как приготовилась Акулина Фроловна, – сказал отец Николай, благословляя нас.

После соборования матери стало лучше, и я уехала на несколько дней в Кисловодск концертировать.

* * *

На третий день по приезде моем в Кисловодск, на террасе дачи профессора Анфимова, за чайным столом, собралось большое общество: М.Г. Савина, профессор Симановский, М.А. Стахович и еще профессора и еще гости, имен которых уже не упомню.

Гостеприимные хозяева хлопотали. Гости весело шутили, а я сидела в уголку да слушала умных людей.

Вспоминали первый дебют Савиной на императорской сцене. Стахович – во время ее дебюта он был еще юноша – влюбленный в нее тогда, писал ей стихи и осыпал цветами.

– Я и сейчас в нее влюблен, – шепнул мне М.А. Стахович.

И впрямь в нее можно было влюбиться. Она была так оживлена и моложава, так обаятельно проста, что я решилась спросить по совести, по правде, сколько ей лет.

– Да я и скрывать не собираюсь. Мне шестьдесят три года, – рассмеялась Мария Гавриловна. – Но когда я говорю, что мне шестьдесят три, люди говорят: «Врет, ей семьдесят три». Обязательно десяток прибавят. Ох уж эти люди!

Разговор как-то коснулся литературы, и М.А. Стахович рассказал историю появления на свет известного романса Фета «Сияла ночь, луной был полон сад»: он был еще мальчиком, когда Стаховичи всей семьей гостили в Ясной Поляне. Толстые были дружны с семьей Стаховичей.

Тогда же в Ясной Поляне гостил Фет с женой и Тургенев, только что помирившийся с Толстым. В усадьбе любили сумерничать. Дочь Льва Николаевича играла и пела. После одного такого вечера Фет рано ушел к себе наверх. А утром, за кофе, Авдотья Петровна, его жена, сказала:

– А Афанасий Афанасьевич что-то писали.

– Ничего я не писал.

– Нет, писали. На столе лежит, на синенькой бумажке

написано.

Тогда молодежь, в том числе и Миша Стахович, побежала наверх, принесла синюю бумажку и стала читать вслух: «Сияла ночь, луной был полон сад».

Когда дошли до слов «прошли года томительно и скучно», все как-то сконфузились, вспомнив, как некрасива была Авдотья Петровна: любовь поэта была одна мечта. И стихи, кажется, до конца не дочитали. В это время Толстой и Тургенев прогуливались по саду и мирно беседовали…

* * *

В хорошем настроении я вернулась из гостей к себе в гостиницу, а там меня ждала телеграмма о смерти моей матери. Я осиротела. Точно пустыней стал мир. Никого. Я одна в нем. Кто мне заменит мать?

Нет чище и нет правдивее любви, чем любовь матери. Ее любовь никогда не обманет и никогда не изменит…

Много лет прошло с той печальной минуты, а и теперь я не могу писать спокойно.

Врачи мне не разрешали ехать на похороны и уже телеграфировали, чтобы хоронили без меня, но я все силы собрала и поехала.

Июльская жара не позволила задерживать погребение. Ранним утром, чуть солнышко осветило нашу старую церковь, я приехала в село. Оно казалось мне опустевшим и скучным. Печально плыл погребальный звон, на белых рушниках колыхался лиловый с позументами гроб, навеки закрывший от меня родное, незабываемое лицо матери.

Все село провожало Акулину Фроловну в последний далекий путь.

Когда опустили гроб в могилу и стали бросать горсти земли на гробовую крышку, я тоже взяла земли.

– Что ты, что ты! – сквозь рыдания крикнул мне брат. – Тебе нельзя бросать.

А я и не знала, что нельзя. «И правда, – подумала я, – ей было бы больно».

При последних минутах матери были Э.М. Плевицкий и Дунечка.

Дунечка мне рассказала: когда получили телеграмму, что я не буду на похоронах, все заметили, как нахмурилось лицо усопшей при этом известии. Но когда пришла другая, что еду, – улыбка заиграла на мертвом лице и мать словно помолодела на

своем смертном ложе.

Это подтвердил мне и Э.М. Плевицкий.

* * *

Опустела голубенькая комната с лежанкою, и весь дом осиротел.

Теперь нас всех тянуло на свежую могилу в углу кладбища, почти против окон избы Потапа Антоныча и Николая.

– За нами тоже, во святой час, дело долго не станет, – говорил Потап Антоныч. – Скоро и мы тут рядком с Акулиной Хроловной и Василь Абрамычем отдыхать ляжем.

И не заметно было в его голосе печали, будто и впрямь желает он поскорее лечь и отдохнуть.

Вскоре после похорон матери приснился мне сон, такой яркий, что и пробудясь, я не верила, что это сон.

Голубь метался, и черные птицы его настигали, а я с тоской кричала: «Заклюют, заклюют бедного голубочка».

Голубь метнулся, и пал в когти черной птицы, и повис без дыхания.

Тогда я увидела мать, идущую со стороны кладбища. Увидя ее, я крикнула кому-то вниз с колокольни, чтобы мать ко мне не поднималась, что ей трудно по лестнице ходить, а я сама к ней прибегу.

И побежала вниз с колокольни.

Обыкновенно эта лестница шаткая, но теперь была устлана ковровой дорожкой.

Я сбежала вниз и обняла мать. А она держит в руках крылышко белое, подала мне и сказала:

– Вот тебе, Дёжечка, крылышко голубочка, которого вороны заклевали.

Голос матери был печален и нежен. Я взяла крыло и проснулась.

Тогда этот сон я разгадать не умела и только теперь его, кажется, поняла…

Сейчас, когда я дописываю эти строки, под моим окном, в густой шелковице, поет птичка, заливается.

Не привет ли это с родимой стороны?

Не побывала ли она теплым летичком в лесу Мороскине? И не пела ли пташечка на сиреневом кусту, у могилы моей матери?

Спасибо, милая певунья. Кланяюсь тебе за песни. У тебя ведь крылья быстрые, куда вздумаешь – летишь. У меня одно крыло.

Одно крыло и то ранено.

Кло-де-Пота
5. XI.1929

Фотоархив

Надежда Винникова в молодости

Надежда Винникова-Плевицкая

Надежда Плевицкая в концертном наряде

Курский Свято-Троицкий женский монастырь, в котором Надежда Винникова собиралась принять постриг. Старинная открытка

Курский Свято-Троицкий женский монастырь. Современное фото

Фото Надежды Плевицкой с дарственной надписью Сергею Рахманинову

Первое здание ресторана «Яр», где выступала Плевицкая

Перестроенный ресторан «Яр» в 1912 г.

Скульптурный портрет Плевицкой работы Сергея Коненкова

Портрет Надежды Плевицкой работы Ф.А. Малявина

Надежда Плевицкая. Дореволюционная открытка

Надежда Плевицкая в 1909 г.

Бюст Надежды Плевицкой в Курске

Николай Скоблин в период Гражданской войны

Надежда Плевицкая в период эмиграции

Надежда Плевицкая и Николай Скоблин в эмиграции

Надежда Плевицкая на заседании французского суда

Надежда Плевицкая выслушивает приговор суда, обвинившего ее в шпионаже в пользу СССР

Памятник Надежде Плевицкой в родном селе Винниково

notes

Примечания

1

Николаевские солдаты – солдаты, призванные в период царствования Николая I по рекрутскому набору и служившие 25 лет. *(Здесь и далее примеч. ред.)*

2

Курская Коренная Рождества Богородицы пустынь – мужской православный монастырь.

3

Саяны – субэтническая группа южнорусского населения. В Курской губернии к началу XX в. насчитывалось около 25–30 тысяч саянов, но постепенно они слились с основной массой русского населения.

4

Московские ворота в виде Триумфальной арки были построены в Курске в 1823 г. в память приезда императора Александра I. На воротах была сделана надпись, что возведены они «иждивением курского дворянства» в 1823 г. Но матушка Надежды, Акулина Фроловна, не владея грамотой, прочитать надпись не могла. Старые деревянные ворота, стоявшие на этом месте, были разобраны еще в 1783 г. В советское время, в 1937 г., памятные Московские ворота были также снесены.

5

Курский Троицкий Девичий монастырь.

6

Канонарх – церковнослужитель, возглашающий перед пением хора строчки молитвослова.

7

Гаман – кошелек, кожаный мешочек для денег.

8

Зелёным вином называли водку.

9

Ктитор – лицо, выделяющее средства на строительство, ремонт или украшение храма; в России иногда так называли церковных старост, ведавших хозяйственными операциями храмов.

10

Красна (чаще кросна) – ручной ткацкий станок.

11

Цевки – деревянные катушки для наматывания пряжи на веретено.

12

Бердо – ткацкий гребень для прижимания нитей.

13

Коты – женские полусапожки.

14

Танок – игровая пляска в южных губерниях Российской империи.

15

Вероятно, сведения о гибели всех близких Надежда Плевицкая получила ошибочные. Находясь в парижской эмиграции, она не могла поддерживать регулярную связь с семьей. Судьбу каждого члена семьи Винниковых проследить трудно, но известно, что брат Николай и сестра Мария пережили саму Надежду и ушли из жизни в годы Великой Отечественной войны – Мария в 1941 г., а Николай в 1944 г. И у брата, и у сестры были дети, и внучатой племяннице Надежды Плевицкой Ирине Ракше, внучке Марии, мы обязаны первой публикацией воспоминаний певицы в России.

16

Арфянки – буквально: женщины, играющие на арфе, арфистки. Это название стало собирательным для ресторанных певиц, циркачек, балаганных танцовщиц, арфисток и пианисток, играющих в трактирах; считалось, что жизнь таких артисток из-за множества соблазнов греховна и большого уважения они не заслуживают.

17

В пещерах – то есть в Киево-Печерском монастыре, традиционном месте паломничества православных.

18

Марш из оперы Джакомо Мейербера «Пророк» («Иоанн Лейденский»).

19

«Шато-де-Флер» – платный городской парк развлечений.

20

Простак – театральное амплуа комического актера.

21

Вероятно, речь идет о ресторане «Крестовский сад» Хабибуллы Ялышева на набережной Средней Невки.

22

Новодеревенские – проживающие в пригороде Петербурга Новая Деревня.

23

«Яр» – один из лучших и знаменитых пригородных ресторанов в Москве, славился не только кухней, но и музыкальной эстрадой.

24

Дворец в Ливадии был любимой южной резиденцией императора Николая II и членов его семьи.

25

Самшит.

Куделька – пучок льна, приготовленный для пряжи.

27

Батожа – кнут.

28

Тенишевский зал – актовый зал Тенишевского коммерческого училища.

29

Михаил Александрович Стахович (младший) – камергер двора, член Государственного совета, один из основателей «Союза 17 октября» и Партии мирного обновления, либерал и земский деятель, обладавший обширными знакомствами в обществе.

30

К началу Первой мировой войны Надежда Плевицкая окончательно рассталась с мужем Эдмундом Плевицким, но сохранила с ним дружеские отношения. Расторжение брака было делом долгим. Оставшись без ангажемента, Плевицкий уехал в село Винниково, где мать певицы приняла зятя, к которому всегда хорошо относилась. Надежда к тому времени купила половину запущенного помещичьего имения рядом с селом и построила новую усадьбу. Там поселилась ее мать, Эдмунд Плевицкий, опекавший тещу, а во время войны и его родственники, беженцы из Польши. А Надежда Плевицкая на придворном приеме познакомилась с кирасирским офицером В.А. Шангиным, и у них начался роман. Об объявлении войны они узнали, отдыхая вместе в Швейцарии. Вскоре Шангин оказался на фронте, а Надежда пошла работать сиделкой в полевой лазарет при воинской части, в которой он воевал. В январе 1915 г. Василий Шангин погиб, а Плевицкая вернулась с фронта в крайне удрученном состоянии.

31

«Гебен» – крейсер германского военно-морского флота, действовавший в годы Первой мировой войны против Черноморского флота России.

32

Жарелка – накладной расшитый воротник к женской праздничной рубахе в народном костюме.

33

Княжий пир – так назывался праздник, который устраивался на второй день свадебных торжеств.

Серники – серные спички.

То есть выпускник Духовной академии.

36

Увеселительный сад «Эрмитаж» с открытыми эстрадами и театральными зданиями.

37

Император Николай II подарил своей младшей сестре Ольге Александровне, которая была несчастлива в браке, особняк на Сергиевской улице, где она могла более свободно проводить время, независимо от желаний мужа, принца Петра Ольденбургского. Дом дворцом не являлся, он был скромнее, но многие воспринимали жилище царской сестры именно как дворец.

38

Княжна императорской крови, дочь великого князя Александра Михайловича, ставшая супругой князя Феликса Юсупова.

39

Князь Лев Сергеевич Голицын – знаменитый винодел, основоположник промышленного виноделия в Крыму и производства шипучих вин в Абрау-Дюрсо; основоположник имения Новый Свет.

40

Праздничные мероприятия, посвященные столетию победы в Отечественной войне 1812 г. Основные памятные события приурочены были к дню Бородинского сражения 26 августа (7 сентября) 1812 г.

41

Колокольня Ивана Великого в Кремле.

42

Шуточная песня А.С. Даргомыжского.

43

Молодой офицер, жених певицы.

44

Униформа сестры милосердия.

45

Вероятно, речь идет о Василии Шангине.

46

Старинная студенческая песня на латинском языке.